

ВЛАДИМИР ГУБИН

ИЛЛАРИОН И КАРЛИК

МСМХСVII

ПРОЗА

владимир губин
илларион и карлик



Vladimir Gubin. Illarion i Karlik

A novel

Copyright © Vladimir Gubin, 1997.

Copyright © Afterword. Oleg Yuryev, 1997.

Copyright © Association "**Камера хранения**", 1997.

Россия, 197343, Санкт – Петербург, ул. Матроса Железняка 33 – 55,
Д.М.Закс.

Copyright © Idea of cover design. Oleg Yuryev, 1989.

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, in any form
or by any means, without permission.

St. Petersburg — Frankfurt am Main
MCMXCVII

Владимир Губин. Илларион и Карлик

Повесть о том, что...

© Владимир Губин, 1997.

© Послесловие. Олег Юрьев, 1997.

© Ассоциация "**Камера хранения**", 1997.

Россия, 197343, Санкт – Петербург, ул. Матроса Железняка 33 – 55,
Д.М.Закс.

© Идея оформления. Олег Юрьев, 1989.

Авторские права © сохраняются за автором. Перепечатка или
воспроизведение другими средствами — только с разрешения
автора.

Санкт – Петербург — Франкфурт – на – Майне
MCMXCVII

Владимир Губин

ИЛАРИОН И КАРЛИК

повесть о том, что...

Санкт – Петербург



Глава первая

БАШНЯ

I

Блохи — вот ураган! Эта сыпучая мгла без единого пятнышка света спешила навстречу тебе — как опилки железа навстречу магниту. Стихия, чирикающая, чиркала по носу, настропаяла глаза прослезиться, царапала незащищенную плоть, ела теплую шею, не кашу.

Вторжение длилось ускоренно, длилось оно всего ничего.

Миниатюрные кайзеры вдруг исчезали долой с оскверненных участков улиц так же стремительно, так же внезапно, как и появлялись, однако последствия пиршества блох, анабиоз опрокинутой попорченной чести, парша в очаге катастрофы, разбитые рваные бусы, непарные туфли, клочки шевелюр и медали на мостовой, подтверждающая жестокость явления, свидетельствовали мудрецу на заметку, что против орды вампиров еще нигде во всем индюшатнике не придумано средств обороны.

Стихия навстречу падала сверху — фактически стригла вдогонку. Прохожие, застигнутые врасплох, окаменевали с испуга. Но многие фаты события все-таки фыркали, многие все-таки делали дико подскоки на месте, рывки на деревья, многие сразу потели, танцуя вприсядку плюющую польку содома, будто бы каждого, кто подвернулся под эту статью насилия, каждого крайне беспечного, кто подвернулся нечаянно, каждого пешего, кто не ковбой, кипятила со всеми другими друзьями-

раззявами в облаке черного рева такая судьба, - многие фары, статисты картины, послушно терпели в аду, когда многие нетерпеливые граждане, делая дико подскоки за порцией воздуха, бились о стены домов или, хуже того, друг о друга. Рациональный рассудок у всех ускользал от обязанности руководить ими. Разум отказывался распознавать обстановку, живая душа взаперти предрекала ко-нец, а повсюду кишела грызня.

Когда возвращалось отишье, жители города кисли с опухшими сизыми рожами, как у потомственных алкоголиков, и ничего худого не помнили. Мужчины, то бишь и женщины тоже, все потерпевшие, все пострадавшие после нашествия, прятали самые гнусные кадры позора поглубже на дно подсознания. Блохи? Да вам если жарко, значит, у вас это приступ изжоги во рту. Вы наелись известки, но думайте сами, кому потекаете. Пусть у рептилий поверх организма свой собственный панцирь или своя чешуя серебрится на пузе. Человеку доступна другая планида. Человеку зато можно вдоволь кататься по сочной траве нагишом — у человека свой сад, и роса покрывает его лепеству. Думайте смирно. Блохи не более, чем отвлекающий миф, обращенный в острастку.

2

На свете каких только нет изощренных желаний? Посмотришь окрест и ахнешь от удивления — чего только людям не хочется!..

Найдутся, возможно, такие задиры-зануды, кто даже захочет прочесть эту книжку.

— Ну-ка, проверим, — скажете вы, листая на выбор ее странички. — Проверим, у автора были причины писать или нет.

Были: однажды ему захотелось.

Однажды пришла ему в голову мысль опрятно заполнить своими словами пачку хорошей лощеной бумаги.

— Гм, в голову, а не в иную конечность пришла?

Повторяю, пришла ему в голову мысль о напрасно пустующей пачке бумаги.

Для этого, не мелочась, он приобрел по друзьям я-желейшую пачку — как бочку.

— Позвольте-ка.

Что?

— Серьезному автору, прежде чем сесть за работу, необходимо задуматься.

О чем же?

— Располагает ли он в кладовой своей памяти материалом для книги, а бочка бумаги, простите, не повод рассчитывать на похвалу дорогого читателя.

Кто вам настукал, что автор серьезный?

Это во-первых.

Насчет похвалы, во-вторых уже это, автор согласен с вами. Он и сам по натуре дотошный читатель книжек и тоже не всякую весточку хвалит, но мнение вашего автора вряд ли должно приниматься другими как основание, как основное препятствие к выходу в свет их печальной печатной продукции.

Человечеству свойственно делать ошибки.

Всё человечество мы.

Вот, если хотите, монтаж из амбулаторной прозы. Врач-оптимист-психиатр ошибся недавно в диагнозе для молодого полезного водопроводчика. Шизофрения, констатировал опытный доктор, когда с дюймовой трубой наперевес водопроводчик Эн-тик из домохозяйского штаба ворвался к нему в кабинет, угрожающе корча улыбку, мыча. Подвижная гамма гримас вплоть до тика и судорог не оставляла сомнения, что перед вами лицо не пророка. Но, к счастью, это была и не шизофрения.

Мастер трубы разгрызал за щекой кусок сахара.

— Сахара? Вы лакировщик.

Нет, у меня — хорошее настроение.

— Надо же! С чего бы оно у вас было хорошим?

Оно постоянно какое-нибудь.

— А разве ни разу не крали у вас кошельки в автобусе? Не крали, считаете? Хам никогда не унизил вас грубостью чванства в присутственном месте? И не болели по праздникам дети и зубы?

Болели и крали, и хама подметили в яблочко. Но вырвать кому-либо зубы — не лучшее средство борьбы против боли. Зубы, вообще-то, болят не по собственной прихоти.

В моменты, когда очень больно, — хамы и воры, как волки, лютуют особенно в эти моменты, — нам каждому необходимо найти между нами двумя сотоварища по выживанию.

— Писатель! — вспомните вы.

— А? — отзовусь из толпы грамотеев.

3

Карлик обвыкся в этой рутине текущего времени, где каждодневно превыше всего ценил утро, когда спозаранок он еще на боку полусогнутый, полуслепой, полужрячий никто, воскресая, летел из ущелья в ущелье, летел из объятий в объятия без остановки, — не то что-бы долго, не долго, но быстро куда-то летел, — а затем у него наступало само пробуждение, бьющее в ясную голову, точно вино бытия.

Карлика мигом одолевали предчувствия близкой решительной радости, которая вовсе не кончится после того, как однажды начнется.

Радость обязана произойти без особой на то при-

чины.

Радость обязана произойти без объяснения повода, необходимого будто бы как оправдание к импровизации.

Любые причины да поводы, как оправдания, собраны все под ее каблуком.

У независимой радости-максималистки нет обывательской спеси похорохориться на похвальбу, нет у нее родовой принадлежности к авторитетам, ей не приспичило зваться парадно ведущим осколком от общего блага.

Не по замыслу свыше, но вопреки тому замыслу — возникнет она самовольно, как аутофера по самонаитию.

Готовься, пожалуйста, не пропустить ее мимо груди.

Не прозевай — потому что без этого мир истощается.

Мир обернется тебе на беду заносчивой дуростью.

Конечно, даже травинка, фитюлька рядом у ног...

Или какая пичуга, фитюлька в объеме пространства...

Как и другие субъекты первейшего права на жизнь, эти кроткие малые стати природы вполне воплощали собой мозаично для Карлика радость умелого существования всякой возможности, были назло вредоносному сраму борьбы не потеряны попусту, но повернуть или высветить иначе нашу тропу на стезе кустарей таковые примеры насущной фантастики были, конечно, бессильны, хотя не бесплодны.

4

— Внешне вы себя помните? На всякий случай даю подсказку.

— Не помню. Булькай.

— Малый вы подозрительный, чопорный, твердый, короче — носатый... Вы кобура с отливками губ.

— Я кобура?

— Для начала плотнее зажмурьтесь.

— Это зачем? Я не буду некстати.

— Но мысленно можно свой профиль увидеть, если плотнее зажмуриться.

Господи, мамочка! — сбоку зевнула фальцетом актриса профессионально взятяжку. — Чего там увидишь? Одни потемки, когда зажмуришься.

— Тебя-то кто вопрошает? — осадил ее чопорный малый, заслуженный физик, у которого были проблемы. — Речь идет обо мне. Всё забыл — я! Мемуары сколачиваю.

— Примите мои поздравления. Много наколотили?

— Не твое дело. Говорю тебе, память опустошена, как ослиное стойло, где нет уже никакой животины,

— Сдох осел? Ясенько! Тогда речь о той синей двери напротив. Это не синяя дверь, а зеленая. Синь это зелень, а главные люди, впадая в обман, еще не достигли того понимания тонкости цвета, что синему лучше зеленое прозвище.

— Люди наклонные говоруны, потому что привыкли наклонно шептаться.

— Возможно. Та всячина, квазиштуковина разная, что без оттенка зеленого шарма, не синяя, вы не согласны?

— Чу! — сообщила новость актриса. — Вижу зажмуренными глазами.

— Не верили? — радовался Графаилл, опальный поэт, инициатор идеи зажмуриться. — Долго не верили! Вот уже вы себя видите.

— Неописуемо вижу действительность.

— А себя?

— Хоботом. Отломанный, кажется, хобот у чайника вижу, приветствуя.

— По логике, так и должно быть. Образно мы себя видим. Образно, примитивистски.

— Хоботом? — удивилась актриса.

— Не твое гиблое дело! вновь осадил ее притязания физик. — Образно — хоботом?

— Образно примитивистски. Хоботом или не хоботом, или собранием уполномоченных, или размашистой дыркой на выкройке.

— Тебе паровозной занюханной вонью себя ни разу не довелось обнаружить, очкарик?

— Я зачастую скучаю полынью в ощурках.

— Отрава.

— Тсс!.. Или можно брыгайлу зато ненароком узреть...

— Это какую такую брыгайлу?

— Да, что за брыгайла?

— Пес ее знает, она промелькнула в уме, ничего не сказала.

5

Дорога ползла неподвижно вперед и тащила на себе Карлика.

С утра по дороге к облупленной башне возобладало желание снова прильнуть инстинктивно к оазису неба глазами — доброе небо за дымкой мистического субтумана сулило по связи поддержку, что ты достоверно лицо.

Между ними была напрямую налажена связь.

Это наверняка телепатия, догадывался Карлик, уважая небо за разговор интеллекта с интеллектом.

Издали башня, — ветхий музейный сарай, — похожа своими горбами на ветхий музейный корабль, умык-

нутый на сушу пиратами. Среди городской гольтепы накопился поэтому скабресный слух. Якобы, ночью морского разбоя, набычив упитые ряшки...

Дескать, еще в позапрошлом столетии ночью служаки разбоя похитили на берег чью-то фамильную шхуну в расчете на выкуп, а вскоре, когда надоело таскать ее волоком через овсяные дебри угодий, обиделись быть у нее бурлаками навеки под лямкой с чужого плеча.

— Тьфу нам на шхуну! — взроптали служаки молитву, старея под лямкой. — Спасти бы корыстно свою драгоценную шкуру... Лямка не мамка...

Сверху нечеткими хлопьями пены вблизи самой башни, мешая сегодня контакту, висели по синему фону смешно там и сям облака. Вдобавок и местные женщины тоже старательно портили небо вблизи самой башни, как обнаглевшие домохозяйки вблизи коммунальной прачечной. Дамы кочевья сушили на длинной веревке по синему фону подъятое кверху белье. Бесстыдство пейзажа достигло предела терпения. Белье на веревке, напоминавшее мелкие рваные хлопья небес, как и сами небесные рваные хлопья, напоминавшие ту же растрепку белья, застили Карлику весь обозримый доверчивый космос исподниками да простынями. Была теснота, куда невозможно по-честному вклиниться, вкלותься взору. Царила полнейшая неразбериха. Карлик обмяк и поехал на демонстрацию облачно-тряпочной прорвы:

— Бунт? Обидно за принципы, коли предложат аферу тебе по-товарищески переодеться во всё не свое после стирки.

Небо ссудило прохладой щекотку за шиворот,
Уродица-башня ждала.

В уродице-башне гуртом обитали созвездно мыслители нации. Высокочтимые разумы, чья мировая бесспорная слава мастито бессмертна, мудрили законы стране. Карлик у башни, вообще-то, не пешка, не клоун,

и должен охотиться.

Карлик обязан отслеживать их изречения, зорко внимать изобилию реплик и шквалу пророчеств и строго-престрого блюсти золотой заповедный, забагранный фонд оптимизма светил, а затем ювелирно, каллиграфическими завитками письма, где буквы красуются, что виноградные зрелые гроздья, что добрые демоны, что скакуны, что премьеры, переносить это всё по крупице, по зернышку на сокровенно секретные бланки с аллюрами, как ясновидящие рекомендации веку. Без оговорок и без экивоков обиды на трусость и трудности Карлик успешно служил и не портил условия службы, которую взялся вести на правах одаренного писаря баш-ни по конкурсу на пол-оклада.

Карлику тошно хитрить, ему хочется сгинуть отсюда подальше в отставку за тридевять астрономических ям и планет, а врагом его был оборзевший поделщик Илларион.

Имея неглупую внешность, улику на случай внезапной анкеты, Карлик уже набрал отроду сорок лет с гакком на случай внезапной кончины. Карлик озлоблен, озлобился на шевелюру, которая портится, чешется, жалит его хоботками волос и трещит, — она мучит его сердцевидную голову, гнусно трещавереща под иголками гребня, как если бы псы на макушку насыпали молний. Карлик отчасти беспочвенно беден, одет он излишне тепло, не по-летнему, по-шерстяному, по-ватному, зычно сопит и боится простуды. Карлик отчасти довольно богат, а врагом его был откровенный завистник Илларион.

У Карлика родственный долг опекунства. Сестра, за которую старший братишка в ответе, смущает его бесконечно. Когда сестру нарекли на крестинах апокрифическим именем, ей в ее метрику тушью намазали сразу четыре словечка, четыре словечка текстуры незнамо зачем и три штуки тире между ними для связки.

Поцелуй—Меня—За—Ножку звали сестру.

Смущая, тревожа своей неудачей по жизни, сестра в западне выпадает из общего строя гражданок. Она малявольная, голая, как аномалия.

Сызмальства — против одежды любого фасона.

Младенческий дар ускользает из-под ига пеленок и пут у нее развился на сегодня до крайне строптивного норова. Божий, наверное, дар — ускользает из-под ига. Всегда на виду, на свободе. Соседи хотели привадить ее носить юбку по поводу срама, напрасно хотели — не сладили. Кривой сердобольный священник отец Алексей тоже дюже хотел и, по-моему, тоже не сладил уговорить ее на домотканое рубище, которое пафосно сам изготовил, обдумав отверстие для головы.

Люди, рек поп Алексей, пушай так она.

Так она вроде заправской свечи, в чем и фокус.

Ибо зело недоступное дело сие не доступно понятию нашей потути понять его, рек Алексей.

Дурочка, дырочка, рек и расплакался через единственный глаз.

Оная дурочка тратила в юности все вечера на подворье, где сторонилась овец, а зато привечала корову среди круговерти животных. Овцы своими носами, точно собаки своими носами среди круговерти, пытались обнюхать ее неодетые бедра. Корова доить ей давала подружески. Братец однажды слегка подсмотрел эти страсти. Звенели молочные стрелы, стуча по железу ведра. Славно работали птицеподобные локти, снуя по бокам, и вольготно ходили смешные лопатки, сокрытые

кожей сеструхи, присевшей на корточки дергать упругие смуглые сиськи, но больше всего впечатляли живые молочные капли на длинных ее коленках и сами коленки, которые были развернуты врозь.

8

Я не осилю сравнить Графаилла с Гомером, а надо бы для научности.

Сравнение, как и цитата, предполагает у некто, кому подфартило сравнением или цитатой, запас эрудиции. Сравнение, кроме того, компетентно поможет увидеть у незнакомой пока новизны что-то близкое, что-то лежащее где-то вплотную с известным уже феноменом. Оно, — будучи кстати, — наверняка придает опусу фронтопись эпоса.

Но Графаилл и Гомер, оба слишком оригинальные бестии, не подчинятся, конечно, порядку сравнения. Каждый, копая на свете доподлинно что-то свое, был инакомыслящим, инаковидящим инакосказателем. Это не панегирик им, отщепенцам. Это жалоба со стороны хроникера-биографа на крутизну предстоящей задачи, где персонажи весьма не сводимы в одно лобовое понятие прямолинейного смысла толпы ни параллелями, как аналогии, ни по контрасту, как антиподы. Здесь игровые попытки добиться сравнения, попытки со стороны подмастерий, вроде меня, приносят иной результат.

История не сохранила каптерку поэта, разрознив архивы. Копирку поэта мы сами куда-то похерили, всё потеряли, пока приходили, потом уходили. Копирку, копилку, копилку...

Давайте хотя бы помянем его, как истца, на процессе по делу забвения.

Давайте — почешем язык?

Если труды Графаилла написаны были не шибко по-гречески вовремя, то пресловутый незрячий Гомер и подавно свои никогда не записывал.

У Графаилла стихами воспето многое. Не хватит, я думаю, вашей публичной районной библиотеки, чтобы расставить авангардиста вдоль ее стенок, ибо чего только там у него не воспето. Паузы. Козыри. Козы. Круизы. Шаманы. Загровки. Заклепки. Трахея. Кино. Конституция. Пшенка. Дорожка. Подвижка. Шлея. Вы спросите, как из обычного хлама в изустной рутине поэт ухитрялся добыть основные слова для себя на земле? Графаилл охорашивал их, отмывал, обрабатывал, организовывал отклики лиры, чеканил образы, как образа. Черт его знает, однако, как он ухитрялся, но что здесь особенно манит ученого? Скользко, скольжение. Трудно, друзья, нам ущучить из описи переплетений что-либо такое, чему на катке не подобрана складная рифма, но каждую новую песню поэт обрубал, оставляя заместо последней строки многоточие...

— Слагаю по правилу: благовест окороти на полоску, — вещал он ответственно кредо. — Вирши мои гениальные, сила моя недомолвлена с умыслом и выражается во многоточии... Тьма многоточия...

Когда вперемешку с огнями спичек и лун у него замелькали, запрыгали, что бубенцы конской сбруи, забегали перед окурками на столе тощие белые мыши, которые пагубно распустошили бутылку спиртного напитка, надрались и сели грозить из угла кулачками, сила моя, напустился на них уважаемый мэтр, это вам ахти что, психуны!.. Пьяные мыши полезли на койку под одеяло, — фамильярничая, как однолетки, мыши дразнили, кусали, щипали поэта, как идиота. Вечером он их убрал уже спящих. Он убедился, что пьяные спящие мыши, конечно же, вовсе не мыши, нисколько не мыши, но многоточие... Держась аккуратно за грязные хвостики, поэт

отнес их из уютной постели во двор и повязался платочком. Если вернутся, не враз опознают его, — вероятно, подумают, это какой-либо практик, укрытый платочком.

О каждом усопшем изгое не поздно подать апелляцию Господу:

— Трудился, жил, ел...

Это когда жил один опосредственный малый на ниве чего-то банального, скажем, Антон, Иннокентий, Никита, допустим, Орлов или Губин, или вообще никому неизвестный майор Отечества.

Бессовестно так объявлять о поэте нельзя.

Поэту пружинка нужна, своя бородавка для некролога.

Дескать, ходил он в журналы.

В альманахе «Темя», куда Графаилл обратился с очередной заявкой, была надежда на публикацию. Была надежда заглавными буквами, но два мужика-редактора, старая поросль, Яша с Андрюшей, крикнув, устроили пышное шествие с его бородой, поскольку плевать им отсюда на ваши заявки, поскольку Гомер, если вдуматься, тоже потомкам оставил устно следы. Сама борода Графаилла вкупе с улыбкой, зубастой, сверкающей многовалентно, как уличный факел, обычно влекла к озорству любопытных обжор-упырей.

— Носили по мере пути вдоль асфальта за бороду, не соблюдая ничуть интересы лица, — записал он устало в своей биографии.

Напоследок он, утверждают его современники как очевидцы, покорял Олимпийские горы своей поэтической миссии. Бедняга маялся там, окликавая забытое нужное слово, какое в ответ юморно разыграло с ним эпику в эхо. Складки, навесы да выступы гор, — они вечные книги, расставленные по сторонам, — отрешенно смотрели на канитель.

А когда, как огромный разбойный кулак, увесис-

тый камень обрушился на Графаилла досрочно с убогой скалы, поэт, уже падая навзничь, отрезая, раскаялся:

— На хрен я буду творить ахиною плашмя?..

9

Зная чужие нескромные тайны, где в ожирении, в ожидании мести скрывались обидчики в энный конкретный момент, если Карлик терял их из виду, терял их и думал, они уже спятили, вымерли, сгнили, двойник иногда наводдал собой все круговое пространство.

Двойник иногда наводдал собой рощи, конторы, контейнеры, плацы, больницы — мастак на все руки и ноги хватался за всё без оглядки.

Двойник успевал отличиться повсюду.

Повсюду хитрец успевал, если даже не двигался, лежа на теплой домашней кушетке, — светать двойнику не хотелось.

Улица жизни пронизана бедностью. Не будь у него двойника, натерпелся бы сраму в отдельные черные дни. Когда беспощадная бедность ужасно царапала горло, хватала крюками за брюки, двойник уходил униженно за подаянием.

Иной бы, кто гордый, сначала поспорил о чести.

Двойник опирался на график учета, кому промышлять, а кому прохлаждаться снова.

По графику лишь двойнику выпадали дежурства просить.

Улица жизни — жизнь улицы. Вокруг уйма дыр, уйма норок, откуда сочатся в объединенный поток обыватели. Двойник из отверстия ранней подземки нацеливался конспиративно к утреннему базару, крался туда, как охотничий зверь. А добыв одну всего-навсего медную горку монет, он инкогнито был у прилавка. Блат-

ные, богатые, сытые масти-мордасти возле прилавка, выйдя вперед, издевательски долго вершили свои ритуальные торги на зло шантрапе. Масти сытыми взглядами щупали снедь, опуская ленивые руки надолго в мошну, в серебро, в середину могущества мордovorотов, и брали товара себе на полушку. На половину копейки. Двойник устыженно терялся, хватал что попало с прилавка — спешил и выкладывал полностью куш.

У каждой души населения, чай, свой двойник.

Это невидимый шкет и пройдоха, как правило.

Когда нависает опасность, он обязательно примет удары твоей судьбы на себя.

10

Здравствую, рубаха-народ! Я тебя жутко боюсь, утешитель и вечный мой путаник, едва ли не самый набитый дурак. Я только-только родился немного, когда краснорожие дворники, золотари, горлохваты, грязца налетели меня совратить, оболгать, увести в услужение маниакальному вывиху разума, будто бы мы на крючке. Мы на крючке, как объекты собственности народа, ради которого каждому простолюдину, каждой напористой поросли предоставляется право на тщательный выбор: или среди толкотни-трепотни быть убитым, или же стать образцовым убийцей. Но мне-то что делать? Я не дерьмо, не палач и не жертва.

Дадут еще слово, скажу вот о чем.

Я чист от амбиции вечно своими стопами мозолить угоды планеты, слушая твой приказной, проникающий мне до кишок, оглушительный вопль о Родине...

Мы любим ее, потому как у нас она самая меткая!..

Мы ревностно любим ее, потому как у нас она самая крупная!..

Скажи мне, красавец, а разве некрупная Родина меньше? Некрупную Родину граждане меньше способны любить? Или для них она разве не Родина-мать? Она хуже?

Твой прагматический патриотизм отвратителен.

Я люблю Родину честно, — пусть у нее больше будет одним из ее сыновей. Мне себя заживо не вразумить относительно пользы во мне после смерти. Верю в имущее время, которое тклет очевидную жизнь, ибо сейчас изобилует яблочный день, — и ни во что не такое не верю. Думаю, благо моей предстоящей кончины заключено в ее несовместимости с этой минутой столетия. Смерть это как? Это что за поклеп еще в яблочный день? Я смертен не хуже других, но пока я живу — запрещаю себя убивать.

— А ты на каком языке сочиняешь эту мигрень? — ужаснулся двойник.

— Этюд о любви?

— Кому? Народ, а с этой пролетарьятчиной тоже нельзя не считаться — побольше поестъ обозлен.

— Уточни, кто народ.

— Основные нули населения, прачки, жестянщики, разные рикши. кто не жокеи-наездники, все мы народ. Или нет?

— Узнаёшь? Это наше крыльцо. Входи, не мухлюй, ты ни разу там еще не был.

— Я — входи? Пожалуйста, но — за тобой, на полшага сзади.

Перед окованной медными бляхами дверью Карлик опять умолял его, понукая:

— Ну!..

— Нет, — отнекивался двойник. — Я не чую порежка, боюсь оступиться нехорошо.

За дверью, окованной медными бляхами, квартировал институт-инкубатор оракульских истин или, конечно, рассадник отборных идей, вместилище смеси музея скульптуры с аптекой закрытого типа, где по стенам овального зала теснились кронштейны, подставки, протезы, на коих обритые бледные головы ладили круто высокие думы навывнос.

У каждой такой государственной головы начертан арабскими цифрами спереди по трафарету порядковый номер. У каждой такой головы побелели глаза. Бывшие карие, бывшие синие, серые, — нынче по цвету белесые. как у вареной вороны в уксусе, — глаза неприятно моргали щетиной ресниц. У каждой такой головы нынче не было тела.

По стенам овального зала, по стенам, отделанным изобретательно прозрачными полыми плитами, текла в одну сторону горизонтально красивая ровная жидкость и стряпала, как имитация прямолинейного перемещения зала мимо безликих объектов и мимо завесы теней, приятный шумок езды. Между панелями щурились импульсы датчиков электропультов, узелки цветного контроля за технологией, за процедурой. Вся здешняя коммуникация вбирала в отсеки своей сверхъестественной хитрости ваш обостренный слух и раздваивала восприятие звука. Вы, кажется, слышите всё, как обычно вы слышите происходящее. Вы слышите шум этой странной системы, слышите четко шаги, различая свои среди прочего шарканья, слышите чьи-то слова, голоса, понимаете внятную речь и в то же время находите, что на какой-то, наверное, провозглашающей вечность одной непомерно растянутой ноте за вами крадется по залу стерильная тишина.

— Каменоломня тупая, не знаю, как еще лучше, чудак, обозвать у тебя холостяцкую синюю лысину...

— Мой послеполуночный сон актриса переманила себе...

— Своего недостаточно, да, — вздыхает актрисина голова. — Мне подавай, что чужое...

— По вашей захапистой милости, детка, хронически недосыпаю, хронически бодрствую...

— Кому подавал что чужое?

— Мне! — кричит остаток актрисы. — По моей милости.

— Девкина ты перепонка, — дразнится в адрес актрисы восьмой номер.

— Эй, Карл, объявите хамью замечанье, пусть извиняется, пусть извиняется, — просит у Карлика помощи голова Графаилла.

— Что-о? — надуваются щеки восьмерки. — Что, колбасина стервячья?

— Ничего, — голова Графаилла робеет. — Я думаю, надо пойти на такое мероприятие. Сейчас извиняешься ты, потом я, потом оно так и начнется по кругу само. Хочешь?

— Асимметричный картофельный шар, я давай пожую для размеса харчок и направлю тебе в оба зрачка.

— Не хвастай, не справишься правильно харкнуть.

— Я-то не справлюсь? Я, было время, харчком оппоненту мозги вышибал, истощенец!..

— Игра в извинения? — встревает актриса. — Браво! Чудесно придумано! Могу первая попросить у вас извинения.

— Вы? — сомневается голова Графаилла.

— Да! Кто следующий?.. Мимика стен утомительна...

— Бросьте. Нельзя вам. Я без штанов, а вы дама. Неловко.

— То есть? У вас обнаружена грязная талия, папа, хотите сказать? Угадала? Почему же неловко?

— Грязная? Ладно, ладно. По мне все равно, лишь бы что-то... Грязная талия... грязные голени... грязные фиги...

— Мул мысли, ты врешь! — опровергает охальник, ехидный восьмой номер и бывший блистательный физик. — Из-за тебя, негодяй свиноренко, разговор оборвался на полуслове.

— Какой? — встрепенулась актриса.

— Не помню. Память отсохла давеча.

— Вспомни.

— Что?

— Какой разговор?

— Я вел ее с этой, ну как ее там?

— Актриса?

— Да, с этой мокрицей, которая вся косоротая. Тебя не касается.

— Не буду помехой, спую.

— Всё вспомнил! Я, дорогая моя сикараха, когда-то носил обе талии вместе. Первая талия скользкая после свидания с дамами, как у змеи...

— Не буду мешать, я спую.

— Песню про фиги, пошляк?

— Я не пошляк, я фигами смахивал слезы.

— Позвольте вас опозорю, восьмерка с актрисой.

— Кто вякает?

— Это хирург. Это с искрой собачьего нюха в остатке бывший хирург изгаляется.

— Продолжай.

— Мы бесполье. Тихо.

— Ну?

— Как академик и медик я заявляю, что все мы бесполье.

Карлик успел уклониться, не принял участия в их ассамблее, пошел обживать одноместный служебный солярий по левую руку. На пороге солярия подслеповато

прищурился, зажег электричество люстры, чтобы не стукнуться лбом о средства пожаротушения по пути. Люстра, жар-птица прогорклого серо-зеленого света, не доставала худенькими лучами до всех уголков этой кельи, где сверху стекали по сводам отдельные темные пятна, скользящие, жирные, жидкие звезды. Теплолюбивому писарю было всегда хорошо в этой пещерке, всегда хорошо, как амбалу на пологе сауны после наружной морозной работы.

Карлик являлся в глубь этого влажного рая в окоп, и в окопе садился на кресло за письменный стол, и давал отдых ушам и рукам, и рукам особенно. Способные, полиспособные руки вели себя самостоятельно дерзко вне башни. Руки вне башни меняли местами различные вещи, вещицы, вещички, чистили нос или бешено чистили шкуркой посуду, чертили задиристо рожицы-буквы на белой бумаге в экстазе сотворчества, собаловства. Работоспособные руки носили на своей коже, куда ни посмотришь, узоры морщин и корявые шишки мозолей, зазубрины трещин и шрамов. А шрамами руки покрыты не хуже бродячей собаки. Руки могли прокормить и снабжать информацией накоротке. Наподхват и наощупь. Они были, конечно, как и глаза, продолжением универсального мозга.

Такими роскошными слугами не стыдно похвастаться перед оравой мыслителей, кто неотлучно за стеной работал одной головой при нашесте.

Но хвастаться было неловко.

Канторское кресло-качалка с амортизаторами не предусмотрено Карлику здешней хозяйством по смете, — впрочем, если бы часть эта предусмотрела такое сокровище, то все равно закупить его было бы негде. Старинная мебель, антиквариат и другие внесметные редкости, радости мира сего попадают только на мусорной свалке за городом, и только на свалке могут они

сохраниться, покоясь утешно в отбросах и хламе сырья до востребования. Всякая свалка характеризует определенную Лету. Наша махровая свалка, надо сказать, охватывала своими размерами территорию больше самой территории нашего города. Вы спросите, где мы живем? А здесь и живем. Оплотный такой городишко близ архипелага помойки. Столица помойки. Профессионалы поковыряются, порыться на ней допоздна катастрофически богатеют, и кладоискателю Карлику тоже порой выпадали на долю счастливые залежи. Фортуна сперва подарила на свалке возок, оснащенный рессорами против измота дорогой при длительной качке по кочкам, — упругая сталь и тугая воловья добротная кожа. соединенные вместе в одной задушевной затее безымянного мастера красоты. Когда созерцаешь эту находку, включаешься молниеносно в алхимию переживаний того баламута-каретника. Переживая победу, Карлик очистил изъяны поверхности ласково щеточкой, выскреб ил и песок из отверстий, снял язвы ржавчины, вымыл, обтер и перестроил удобства шедевра по-своему под индивидуальное кресло, которое напоминало большое гнездо на рессорах — ерзай, дерзай.

12

Ранее голова номер восемь была на плечах. Она там уверенно билась лбом об стену. Вот и добилась — пробилась однажды насквозь.

Однажды башка поддержала по-рыцарски в пекле науки теорию калиброванного пространства, как альтернативу теории бесконечности.

Нам объясняли на лекции грамотно, что значат обе теории в естествознании, чем отличаются между собой, но мы ничего второпях не запомнили, не записали до-

ходчиво пересказать эту жуть.

И за такие заслуги на свой юбилей голова начеканила по достижению возраста в отрасли бляху — на этой медали на свой юбилей физик, чья голова, не побрезговал увековечить игрушкой родным и потомкам его выдающийся профиль, у коего с оригиналом уже ни малейшего сходства.

Детишки спросили когда-то папаню за трапезой:

— Хорошо ли быть, отче, физиком, или раджей много лучше?

Голова, жуя вегетарианскую кнелю, сказала тогда:

— Чады, мне. как известному физика, необходимы интеллект и талант, а раджи поклоняются мясу.

Дай теперь этому физика тело!..

Не всякое тело, не камень и не пластмассовый лед или плед, и не любую другую культуру материи, как интерьер или как атрибутику жизни, — возобнови суверенное прежнее тело всего мужика.

Возобновленный кубометраж утробы захочет еды натошак, и не растительной луковой пици захочет, а самую сильную порцию самого бычьего мяса лукаво.

Физик устроится на скотобойню подсобником у мясника.

Надо беречь и питать это новое прежнее тело, поскольку с одной головой налегке — не до физики.

13

Хирург — это душедробильная боль, а не миф. Он умел экстремально трясти подбородком. Отрывистый, властный, породистый жест его подбородка снискал ему среди молодежи славу борца за высокие принципы. Среди молодежи никто не задумывался насчет его принципов, о чем они повествуют, если, конечно, содержат

ядро вероятности смысла. Для молодежи, кому, по несчастью, нужны свои вождь и пахан, и другие ведущие старшие куклы, главное все-таки жест, а не сами бумажные принципы столбиком.

Идол и лидер, он осыпал ассистенток, особенно рыжих, особенно русских, особенно темноволосых, особенными комплиментами, тратил изрядно купюры ночами на выпивку, но часто по пьянке нагелл, угрожал ампутировать у собутыльницы пуп или даже дрожащий со страху кадык, обещая семь раз аршином отмерить от ягодиц, — обходились его приставания сравнительно благополучно, как оргии без инцидентов, интересующих уголовную хронику, но молодежи, парням, это хобби начальника нравилось изобретательностью.

В академическую больницу, где врачевал, ему пофамильно везли на колесах, и на санях, и по воздуху разные хвори. Со всей страны круглосуточно предоставляли хирургу замученный хворями люд, у которого не было вовсе дальнейшего вида на жительство. Свою клиентуру хирург оценивал однозначно. Для воссоздания погибающей популяции хирург отыскивал у пациентов органы попредпочтительнее, поздоровее. На запасные части. Затем из этих обрезков, искусно сначала разрозненных, а потом искусно соединенных и заново сшитых, у него под иглой получался весьма человек-ассорти. Жилец, у которого были свои только шрамы. После недолгой поправки сборные люди самостоятельно двигались и покидали насиженный стационар. Обнюхавшись, эти персоны легко находили себе применение в обществе. На пристанях и вокзалах они грузили, ворочали тяжести. Невозмутимо покорны — тихи, как яйцо. Но возникла проблема, которой хирург испугался. На каждого сшитого супера претендовало по несколько жен. Осады, скандалы, судебные тяжбы. Завидя в этой копне сочленений любимую кисть, или кость, или веко

супруга, дамочки не признавали себя по закону заправскими вдовами. Хирург отступил и сыграл ассистентам отбой.

Но, бросив опыты по трансплантации липкого скользкого ливера, хирург окончательно революционную практику не прекратил. Он обратился к идее спасения мозга. Так и была создана корпорация разума. Была создана беспримерная башня, куда водворился в итоге своей головой зачинатель ее пиетизма.

Правда, хирург упирался туда поселиться, но получил указание свыше.

Мозг его был еще нужен, а сам он уже незаметно спился.

Тело хирурга земно погребли на задворках улицы.

На камне штыками набили надгробную справку.

«Хирург. Одна мертвая туша без оконечности разума.»

Штыковые шеренги нахальных юнцов у могилы — трижды сверкнули по чьей-то команде свежо подобродками знаки салюта.

14

Приглашаются первопроходцы.

Вступившие в Общество членами первый существенный кровельщик-ябеда, первый глашатай-заика, первый тихоня-солдат и первый калека-слуга, безразлично, что бякостный, на костылях, абы первый, решили собраться на Первый конгресс отношений. Закуплена добрая тысяча банок икры. На конгрессах обычно красно говорят, а собраться бесславно молчком и разъехаться тоже молчком — это значит испортить обедню. Поэтому нервные первые люди просят у Башни пожертвовать Обществу тезисы для ключевого доклада. Нужны пулевые

слова.

Карлику тоже нужны пулевые слова.

Впрочем, он обожает экспромты, когда вдруг язык-композитор телепатирует из ниоткуда нам остроумную фразу, какие не часто слышны в обиходе на митингах или на свадьбах, — едва начиная вздох ее по наитию, ты чувствуешь интуитивно, что фраза готова давно, что в ней сказано всё сокровенное кстати, и ты в этой фразе на торжище речи находчивый, не пустомеля.

Правда, нередок отказ языка. Допустим, однажды пришла тебе новая, небородатая, не тривиальная мысль. О чем? О чем угодно. Важнее — другое, важнее — найти равновесное слово для публикации вслух этой мысли. Но как это сделаешь, ежели в экстренном случае необходимости здесь у тебя нелады с языком, и тебе попадают только ходульные штампы, дежурные, бывшие в употреблении реплики, всяко чужие слова? Посмотришь, а мысль, а хорошая, нужная вроде бы мысль, обустроенная такими словами, где нуль информации, не проросла подобающим образом и лишена первородства. Сюжет и контекст этой мысли потеряны где-то бесхозно в устах у немого пророка в убыток эпохе.

Карлику стало смешно.

Писарь улыбочиво соображал им ответ.

Ешьте пленарно всю тысячу банок икры тихой сапой, но помните, где чертовщинка, — то, что безмолвно в акустике, вовсе не значит еще, что бесследно в истории.

Сам он обедал умеренно.

Сам исподтиха питался задешево морем, — ел ежедневную пищу, не чувствуя слезки, — черпал из этой лохани посредством омывочного ковша немного селедок.

Иначе, просто соленой волной, сыт оттуда не станешь.

А между тем у восьмого номера был интерес и бы-

ла привычка подглядывать, ежели Карлик, ужорливый промысловик, обедал. Они столкнулись однажды глазами. Серые зенки жующего писаря вникли нечаянно в острые дырочки номера, будто бы там огоньки, не заглушки, не запонки. При столкновении бедный восьмой поначалу сконфузился — бедный сконфузился плохо, не пряча тоску по жратве. Карлик и сам оплошал. У Карлика дрогнуло что-то внутри пищевода. Как окаянный, застигнутый за недозволенным актом, он отшатнулся. Зубная понурая боль у восьмерки заставила Карлика возненавидеть еду.

Мы — виноватые мелкие сошки, лишенные выбора. Все мы, — лишенные выбора, мелкие сошки да мошки, — закарканы, забарабанены, завожжены. Считая себя виноватее всех, он отважился на благородный поступок.

15

Карлик отважился на благородный подлог.

16

От обитателей башни страна получала тружение?
Шиш ей.

Но Карлик, отзывчивый малый, тайком обеспечивал этим обрубкам алиби, гипнотизируя все государство своей привлекательной мудростью. Лысая гиперколлегия тратила время на мелкие склоки. Затворники существовали взаем у ничто.

Карлик, отзывчивый малый, напичканный донельзя совестью боли, стремился на свой страх и риск исполнять их обязанности по руководству народом, один отдувался за всех от их имени.

Хотя человеку страны за такие заслуги положены всячески великолепные почести, Карлик имел исключительно горечь обиды.

Прохожие нашего города, как и соседи, сопостояльцы по сумасшедшему нашему дому, взирали на Карлика свысока.

Мол, утром утино куда-то вразвалку ползло мимо них обезжиренное вещество.

Не такое весомое, как они все, мол.

Не такое веселое, как они.

Посему нет и проблемы.

Нет у них и проблемы, что делать, или заискиваться перед его проползанием, или набить ему харю, да тем и закончить интригу.

При входе в автобус упрелая плотная масса червятника лузгала семечки, тискала Карлика справа, давила на сердце слева, лезла вперед и рычала. Масса в автобусной хляби согрета не столько совместной душевностью, сколько совместной повышенной температурой своих испарений. Вся стоголовая гидра, дыша на тебя через открытые пасти вонючих утроб, извергала наружу горячую химию кислого запаха вин и чесночного запаха.

Щупальцы липкой дрожащей лапши словоблудия перетекали в уроки нотаций.

— Ты-ы?..

— Что дурак? Я тебя научу.

— Ты — меня?.. Кто — кого!..

Коли вы все так умны, почему тогда плохо живете?

Масса рычала какие-то псовые лозунги массы, не понуждая себя догадаться, что потной слюнявой страной пассажиров, и семечек, и шелухи верховодит инкогнито Карлик. Естественно, Карлик, общипанный мякиш автобуса, не раскрывал обывателю тайну во хляби, военную тайну, что сам управляет их армией. Но двойнику тет-а-тет иногда хмыкал едкое:

— Чувствуешь огонь?

— Я чувствую сбоку... Гляди в этой давке...

— Слухач?

— Я говорю, не расплющи старуху...

— Не перекладывай мне свое хамство за пазуху.

— Конечно! Ты — мокр, а мы — сохни?..

В общем, у писаря не было власти. Писарю не дали грядку на том островном — основном — огороде, где вырастают арбузы крупнее быка. Поэтому — не самозванство, не самозвонство, но здравые, как озарение, как откровение, честные, частные, частые — чистые мысли, которыми Карлик от имени башни снабжал инстанции, теряли сперва свои здравые признаки пагубно в этих инстанциях, откуда затем, искаженные, переименованные редакторами газет, они поступали рычащей толпе, чтобы та растащила по закуткам их останки для перемола в ярость агрессии.

Редакторами, ре-докторами.

Но.

Мысли мне мыслятся впрок, а бездарные реды подавлены словобоязнью.

Бывало, что метаморфоза духовного шарма происходила по-разному. Не всё до конца мы бросали на плаху бездарности. Кое-что, ради спасения, было нарочно забыто.

Бездарность — это чесотка, не излечимая никакой мазью, никакой маской, никакой книжной мозаикой. Зуд ее всепобеждающе неограниченно распространяется долу по нашему стойбищу, где на поблажку трудящихся зуда трудящимся зуда нужны как оценка труда свои толкования веры. Что сгоряча наработано — фарс или фарш. Оправдательные мотивы бездарность экспроприрует у недобитых ею теорий. Тогда — например.

Обыкновенный хлопчатобумажный паек объявляется косвенно шелком — и сто процентное стойбище радо одежде хлопчатобумажного шелка.

— Гей, где бабуська?

— Как это где? Потеряли.

Странник одного плеча, — второе плечо было тоже при нем, оно было целое, но малозаметное, как у козленка, — не ведал, откуда пошла недоимка симметрии, но понимал это зло перекоса костей как отметину. Вот я какой — вызываю слезу милосердия, где к основному набору достоинств относятся, прежде всего, недостатки.

Мумифицированный попеременно властями, неурожаями, зноем и стужей, бродяга рядился во что придется, во что попало, в обноски, в отрепья, которые даже где-либо на каторге наверняка не признают одеждой — прорехи, лохмотья плаща наизнанку нелепо казали прозелень икр оборванца, — бомж обряжался, как

если бы чудился.

— Веды, пустите, примкну! — царапал он утром обшивку на башенной двери. — Мне возраста больше ста лет, у меня все права на такой мавзолей. Мудростью, мудростью филина полон и болен, и располагаю секретами нового сорта гороха с косточкой. Надо? Впустите в аналоги. Не впустите, скоро зима на дворе. С косточкой вес у гороха прибавится втрое, выгодно втрое... Стыдно, какие вы там еще молодые, что ничего не знаете... Косточку, чтобы не поперхнуться, надо впоследствии сплунуть из яства... Думаю ноту протеста, что скоро зима...

Поговорив о себе заковыристо перед окованной дверью, поговорив и подержав ее за грудки, скандалист унимался.

Шел он, идущий с идущими рядом, а время куда-то несло без учета желаний.

Жизнь, интересная, жертвенно щедрая прежде, — теперь обирала до нитки.

Много богатства было потеряно за прошлые, пошло прожитые годы.

Было потеряно много родных и знакомых, — если точнее, то все потерялись, — если точнее, то кое-кто помер естественной смертью или под арестом, или простецки забыты, кто где. Земля нарожала народу количество новых умельцев. А те никого не смогли заменить.

Интересный вначале, цветастый приветливый мир обернулся чужим и по сути пустынным источником этого страха.

Страх обреченной потери всего, когда вам и терять уже нечего.

Бродяга согбенно шагал, а старенькая головка, подобно коробочке зрелого мака, постукивала, потрескивала внутри погремушками.

Карлику срочно приспичило выйти.

— Карл! — окликнул его патетически кто-то, как обозвал однозначно собакой.

— Что надо тебе? — спросил он у бывшего физика.

— Нащупай ногами внизу.

— Что — нащупай?

— Вспомню, забыл уже. Ты не дыши на меня, чтобы не помешать.

— Я согласна, согласна, — проблеяла, как обдала сквознячком, актрисина голова. — Мальчишка мешает отдыху.

— Тень, исчезнь! — огрызнулся физик. — Окстись и подумай, подстилка, на что ты согласна. Кому ты нужна сегодня?

— Согласна.

— На что ты согласна, кому ты нужна, клоунесса?

— Да замолчите же вы, носорог, экспонат, — актриса решила держать оборону. — Вспомните лучше, склеротик, о чем вы забыли.

— Сейчас обострюсь и всё вспомню.

— Вспомни, пожалуйста, нашу зеленую дверь, если вспомнить иное что-либо тебе по причине болезни пока что нельзя, — присоветовал ему Графаилл.

— Я спала, сапоги меня разбудили.

— Вы снова мой сон у меня прикарманили? Нехорошо.

— Товарищ утюг, у тебя сон о фигах? — укольчато шепнул языком иронический некогда физик, осмеивая поэта.

— Я вас, если что, зарифмую с отхожими дерьмопродуктами, — предложил ему славу поэт.

— Укакаться надо сначала, но ты не способен.

— Укакаюсь.

-
-
- Ой ли?
- Мне, знаменитой, капризной, занеженной, красть его сны? Мне Швейцария снилась!..
- А штрек-шталмейстер?
- Это не видела.
- Видели, видели, но — безответственно видели.
- Впредь осторожно прошу, коли взяли чужое...
- Не было, говорю, никакого штрека.
- Да было, но с вами по-женски всё бесконечно растрачено.
- Не было! — рывкнул отрывисто бывший хирург.
- И никогда ничегошеньки не было.
- Карл, объявили бы членовредителю выговор! Это по милости членовредителя мы вас изрядно тошим.
- И пожалуйста, Карл, если входите кланяться, рекомендую стучать у дверей перстеньком уважительно, поняли? Не сапогами по тесу. Но зря не входите.
- Но Карл еще не вошел, а собрался выйти, чтобы войти.
- Не возражаете, вкрадчиво трижды тук-тук-тук!.. Опрятно, застенчиво тук-тук-тук!.. А какой вы среды? Ну, давайте возьмемся за вас, отшлифуем отлично манеры... Мы воспитаем... Обычай таков...
- Обычай — не бычий, хорошая рифма.
- Хочет он этого? Ты хочешь этого?
- Тогда мы назначим ему наказание! Придумаем ужасы — кару!..
- Кару? Пусть он у меня поцелует ушки.
- Ты, мотка-размотка, заткнись, я покуда тебя не заткну.
- Кто Мотька? Не вижу.
- Мотька, кто матка. Всю косорылую видишь?
- Она.
- Мотька, которая вся... мда., — зарифмовал ее по-хозяйски поэт. — Обормотька!

— Мотька... Матрена... Матрона... Так окончательно звали мою канарейку на сумму за десять рублей... Карл, я прошу вас!..

— О чем это вы?

— Карл, ужасно заплачьте!.. Заплачьте, пожалуйста... Надо бы мне самому персонально заплакать, а слезы не лезут, и нет изнутри никакого запаса влажности... Заплачьте... Затем оросите слезами персты, чтобы слезоточивыми пальцами трогать узнику щеки... Заплакали?..

— Карл, очередную горящую спичку дайте сюда, пожалуйста, — дуну!.. Фу-у-у... Ничего...

— Ничего, ничегошеньки! — рывкнул опять отставной медработник.

— Оттыкнись!..

— Откликнись — а кому? Жалко рифму. Пропадает.

— От-ты-ты-тыкнись!..

— Отличная звонкая рифма, но пропадет.

— Я вспомнил, о чем я!..

— Вспомнил о чем?

— О рыбах!.. И вдруг о тебе, Карл!.. О тебе, солдат армии, тоже... Ты справедливо намерен загрыз их, они по-предательски голые, но без ушей...

— Кто загрыз их? Я, вероятно, спала.

— Карл и загрыз их, обычай таков.

— Обычай — не бычий, хорошая рифма.

— Всех упраздняю, носители гонора да гонорей! — рывкнул опять истошно трагически бывший заплочный хирург, окоронованный всюду. — Закон упразднения, думаю, слышали?

— Какой закон упразднения?

— Что нас отродясь еще не было вовсе на свете.

— Как это не было? Как?

— Отродясь. И вовеки пока что надолго не помышляемся.

-
- Мы — были!..
- Не было. Никого не было.
- Но прочие были?
- Прочие были нахрапом, а нас еще не было, не помышляемся.
- Согласен, отсутствие так интересно! Все были, хворали, все маялись изо дня в день или грызлись, а нас еще не было. Чисто сработано.
- Да, но когда-то же мы состоимся?
- Наверняка состоимся! Надо кому-то нести гонорею кому-то.
- Правильно! Правильно сказано, мы состоимся наверняка. Надо кому-то не только нести, но кого-то резать.
- Отвечай, ты нащупал опорные точки ногами внизу?

24

По городам и по деревням, и на вокзалах укоренился наивный слухок о всеобщей переписи взрослого населения.

Поговаривали, что некто, маскирующийся карликом или Карликом, определяет явку мужчин и женщин, удостоенных, якобы, записи в книгу, которую неизвестно где взял.

Книга затеяна весело на специальных колесах, она большая — формата музея.

Карлик в ней пишет лучом.

Этот луч его бегаёт сам по страницам:

— Как ваша фамилия? Кому посвящаетесь?

Я тоже хочу записаться, кому наперед адресован.

Я посвящаю себя — завещаю себя своим исконным близким, а не шантрапе.

Карлик отстаивал антикандальное право людей расковать языки. Творя докладные записки наверх, он от имени башни долбил и дразнил инстанции выгодой вольного слова. Там от его гуманизма все наконец уготели. Родился декрет обязательной гласности, где поголовно всему населению было строжайше предписано думать о чем-либо вслух, а не молча.

Кайся по форме за содержание, какая растет у тебя нелегальная смута в уме.

С утра бегут и бегут орущие люди, тревожа захарканный город, — орущие, словно поблизости где-то воспрял из окурка всемирно пожар или всепожиряюще где-то бушует иное стихийное черное зло, — каждый крикун, охваченный паникой бега, несется рысью куда-то спасти себя первым.

Ослабление паники наблюдается пополудни, когда постепенно притерпишься к этому шуму, перестаешь озираться на всех исподлобья, поскольку взамен истерии ты слышишь оскомину жалоб.

Архидискуссия длится намного спокойнее вечером, она тогда больше похожа на дождик, урчащий по кровле пустого сарая притупленно.

...Купите, купите, купите — кому куропатку механическую по чертежам, а кому самовольно скользящую, скользкую шайбу, кому — как угодно, кому — что, не пострадаете!

...Плешивость у лысых обязана скупости лысых, аскезе.

...Тезки.

...Послушай, приятелей бьют иногда независимо, бьют и незнамо за что, по-приятельски, но как адвокат адвоката — взыскую за порчу седла твоей задницей, ты помолчи, потерпи, тебе дружески больно, сочувствую.

...В отпуске тещину дачку покрашу, заклею га-лошку жене, подрасту на вершок.

...А кино посмотрели правдивое на запредельную тему, где тусклая пряжка на пузе не вся золотая, но чья-то корона там отражена.

...Тезки, вчера бормотухи пол-литра на кишки себе наплескал, а зовут Эротим Алексаныч, упойная сила большая была, понимаете мистику?

...Стыдно старухе рожать еще двойню, беда мне.

...Значит, отвислое то, что полого пологое.

...Сам иностранец, у нас — Иностраня, тоже бар-дак, я скажу.

...Купите, купите — кому куропатку бесплатно?

...Всю сумму, всю крупную сумму вернули, всю сумму нашли на втором этаже, потому что, спасибо, сосед обокрал, а не кто посторонний, спасибо, не вор отыскался на кражу с улицы.

...Тезки, меня, повторяю, зовут Эротим Алекса-нович, имя запомните.

...По мере сопения сон исцеляет астматика на по-ловину болезни, сказали Кузьминичне жуликосенсы по триста рублей.

...В Инострании тоже такие-же блохи, которые точно шприцы.

...Тезки, запомнили тузика?

Порой возникали немые события, немые собратья по галдежу. Немыми среди горожан юридически призна-но племя тупиц, у кого пустота насчет умственной сфе-ры не позволяет опробовать им их извилины мозга на слух. Освобожденный законом от этой почетной пови-нности, высуну хвост языка по-собачьи на ветер, опо-вещай белый свет о себе специфическим образом, если дурак! Отбросив амбицию, Карлик учился тогда плутов-ски на дебила, — замаскированный под идиота, носил он язык обнаженно, как все они, даже лучше, чем они

все — вызывающе, точно цветную заплатку на флаге, держал он язык удало набекрень, отчего лицо симулянта деревенело, душили позывы на рвоту.

26

Как-то раз утро наслало на город анестезию безветренной майской жары, что деревья под окнами Карлика скрючились.

Искусственные деревья — деревья живые, но вялые, как искусственные — старчески скрючились.

У Карлика на жаре вес его тела тоже достиг уровня старческой неуправляемой тяжести, когда горожане, вполглаза лениво галлюцинируя, ругали вполголоса климат удушья за происки вящего сна.

Все горожане в удушье подвержены злости, но Карлику в этом аспекте сегодня везло, потому что сегодня какой-то мальчишка навстречу смышлено тащил интересную кладь.

Язык у мальчишки, что было не менее дерзко, чем интересная кладь, оказался не робок — язык информацию на люди не выдавал и не трясся паскудно слюнявой свечой.

Не трясся, не трясся паскудно снаружи на роже.

Надо же так осмелело настроиться!..

Мальчишка не тратил усилий на внешние трудности. Шагом авгура, несмотря на такую погоду, мальчишка тащил аккуратно в авоське, наверное, лунные камни камину. Сразу втемяшилось их обаяние, вспыхнуло чувство своей сопричастности.

Карлик отверг эмиграцию собственной совести, спрятал язык и разразился пронзительно свистом.

Среди суматохи насыщенного и напыщенного мордобоя Карлик умел упасть из окна непоруганным эклезиастической.

Среди провокаций липовых истин и ложных или сверхложных идей.

Среди торжества дисциплины товарищей по топору.

Среди всенародного вопля товарищей в очередях у прилавка на торжище.

Среди помрачительной гонки наперегонки в обустройстве нашего быта, где, сколько туда ни тащи добра, сколько ни вкладывай по каталогу, сколько ни вкалывай, чтобы жилью наконец у тебя засверкало не хуже, чем у соседа, всё тебе кажется мало стяжательства для перевеса тщеславных утопий.

Среди беспощадной потравы толпой твоего персонального времени.

Среди миражей любил он упасть из окна в остановку на перекур.

У некурящего Карлика существовала манера блюсти перекуры на дереве.

На дереве можно донельзя вальяжно расслабиться. Карлик, инкрустированный сетками светотеней, поощрял естество на здоровье дышать атмосферой, блюдя перекуры бездымные. Внизу, по земле, что-то дружески бегало.

Там или грибник, или дачник, алкаш, или кто перемещался по лесу ретивой рысцей вдоль овражка пружинисто на четвереньках — он исполнял это действие, не мельтеша, напрягая четыре конечности поровну, как ягуар, у которого хитрое тело всегда начеку для прыжка. Завидев его со своей высоты, Карлик искренне хмыкнул. Опознанный, тот огрызнулся на Карлика нехотя. Шельма, дабы не создать обострения, далее мускулатурил

уже вертикально по выбранной ранее трассе, задействовав обе ноги человечески поровну, как у возможного стайера, фрайера. Карлик отметил обидную разницу между спортсменом и четвероногим. Утративший прежнюю горизонтальную спесь, ягуар оказался довольно пузастым, обрюзглым опарышем из активистов-опарышей. Праведный бег у него выходил изнурительной драмой на лоне природы. Земля, не пуская, хватала за почки, за тапочки. Было неясно, на что полагаться. Ну, скажем, опушка недалеко, — ну, скажем, опушки леса достигнет он или падет у ближайшего пня.

Будто в ярме подневоля толстяк истязал грузное тело на выбранной ранее трассе по грязной раскисшей тропинке, петлявшей назло, как извилистый шрам у планеты, которую мы бичевали, загадили щепками, стружками, стружьями леса.

— Гнездышко-перышко на зиму вьешь? — он оправлялся напротив убежища Карлика. — Привет! У тебя на дубу какой титул?

— А вы что за фрукт? Осьминог?

— О себе скажу всуе. Монарх.

— И не самозванец?

— Иные, по мягкости крови, давно самозванцы. Пренебрегают они по мягкости крови, пренебрегают инстинктом, удобством инстинкта. Касательно лично меня, чувствую почвенность антропофагии только на гривеник, если не бегаю на четвереньках. Если не бегаю, мне возвращаться домой неохота. Давай полюбовно полиземся...

— Как это? — Карлик уже догадался, что перед ним сумасшедший.

— Ну, полюбовно простецки на пользу мне, понял?

— Отпадает. У меня вирусный грипп.

— Этого гриппа тебе никогда не прощу...

Пятно полинявшей спины сумасшедшего снова поп-

лыло по мелколесью.

Карлик от ярости негодовал — иноходец испортил ему настроение.

Карлик от ярости, не находя себе места, вскипел и расхлябанно дернулся вбок. Это лютое бешенство повлекло за собой наказание. Но, падая с дерева в тартары, писарь услышал обрывки добротного женского смеха — ласковый смех, если верить ушам, отражал изъявление радости женщины, что верхолюб и курильщик ухватился руками за гриву какой-то спасательной ветки, повис, а не грохнулся наземь, и мозг у него не разбит.

28

О женщинах — откровенно.

Прячут они под одеждой свою голографию хрупкости, которая свойственна слабому полу, как ощущение хрупкости внешнего мира. Благодаря нашей взаимосвязи с этой своей половинкой, представляется нам осветляющий шанс. Это когда подстрекаем ее на потомство.

Когда мы подстрекаем ее на потомство, мы подстрекаем ее передать ему навыки нашего зла, когда мы подстрекаем ее передать ему навыки нашего зла, мы подстрекаем ее передать ему внутриутробно вселенское зло, когда мы подстрекаем ее передать это зло, неизбежное будто бы по своему фатализму, необходимое будто бы для долголетия, мы — полновесные жлобы природы — вульгарно застенчивы, не признаёмся, что всякое зло на земле как-никак изначально мужское.

Но, благодаря нашей взаимопривязи, представляется шанс искупления нашей вины дикарей за минувшие войны, за причиненные тяжкие беды, за надругательства, за надувательства, за разгильдяйства, за членовредительства, за краснобайства, за сквернословия, за ма-

лодушья, за пьянки, за пенки, за карты, за фомки, за недостачу, недозакваску таланта мужчин у мужчин. Единственный предоставляется шанс. Угломнить у себя сто страстей можно только дозволенной женщиной.

Карлик интуитивно выбрал однажды себе недурную невесту, придумал ее себе среди невидимок, общается с этой красавицей на расстоянии внутренним оком, а встретиться по-натуральному покудова не приходилось.

Эта заочница целенаправленно где-то все прошлые годы жила для него.

Ждали случая.

Наконец она вот — она вся приближается.

Новые кофточка с юбкой, чулки, голубое, зеленое, желтое, синее, красное — всё фиолетово.

29

Карлик узнал ее — приближаясь, она постаралась. Она для него танцевала круги по траве на поляне. Гордо красивая без оговорок, она была мастерски неповторимой, подвижной, точно такой же подвижной, как он ее мастерски выдумал.

И все-таки, нет, она, превзойдя себя первоначальную, самостоятельно переросла результат его замысла.

Будучи нежной, послушной, как он ее некогда выдумал, она для него себя сделала нынче намного нежнее, нужнее, важнее, чем он ее ранее выдумал, она постаралась, а на поляне волчком она полностью переиграла своими кругами, своими ногами вертлявую позу вищащего мужа.

Зеленое, желтое, синее, светлое.

Свой фиолет антуражу спектакля.

Свое напряжение.

Главное женское новшество — что фантазийная

женщина, как оказалось, имела себе два лица, подкрепленные челками, — не потрясло неожиданно Карлика. Тот осознал ее степень отличия как уязвимость инакости. Затылок отсутствовал. Ибо мутантка вписала строптиво туда второй лоб, а вместо спины завела себе — тоже вторые, но — тоже нормальные грудь и брюшко. Правда, вторыми по счету назвать их уверенно Карлик остерегался. При двух одинаковых органах это понятие счета слишком условное. Где, например, ее зад? И перед — оба переда?

Без инструкции не разобраться, чего тебе надо, кого тебе слушать, если заговорят оба рта, но без инструкции видно, какое тебе подвалило сокровище.

Черт его знает, откуда взялось оно.

Что делать ему с этой женщиной?

Попробуй, пожалуйста, не возопить.

Попробуй-ка, не возопи...

Разумнее было бы с этой двуликой великой современной расстаться везуче-висяче, пока ты фруктово на древе.

Но разум одно говорит, а душа не согласна расстаться — распасться.

Хорошая женщина разве сама виновата в излишке своих ипостасей? Кто сотворил ее, помнишь? Она же старалась.

И — перестаралась.

Она помогала тебе, не забыл?

У Карлика скорбные мысли.

Все то, что хорошее, мол, это вечно приманка разбою породе завистников и ненавистниц, и каждому шибздику тоже приманка.

Шибздику вечно дурачки нейметя шпынять элементы хорошего лапой.

Дерьмо сообща для того существует.

Оно существует избить ее ночью, забить ее ночью

цепями по-своему.

Либо двойную натянуть узду на нее.

Либо, конечно, корыстно, — конечно же, патриотически подобострастно доставить инопланетянку на поругание в известную башню.

Кунсткафедру.

Такой чумовой головы там еще не поставлено.

— Ты не тyani, скорей падай, ты что невеселый? — верещала внизу жена дуэтом. — Я подстрахую, голубчик. Ура?

В участи парашютиста на дыбе сперва не заметно какой-либо тяжести, но, поначалу терпимая, тяжесть исподволь обретала физический вес и тащила всего тебя книзу. Надо немедленно прервать окаянство нагрузки, но пальцы, сведенные в окостеневшие горсти, не слушались. Эти сцепления держали каменной хваткой дубовую крону.

Наша беда — вся в отказе горстей подчиняться.

— Думала, встретимся, дело себе соберем! Я скачаю, но рассержусь — и домой по росе. Хотя некуда...

Карлик, изнемогая навтыжку, мялся, прикованный за руки.

Скоро нашло на него помрачение, будто бы только что минула тысяча лет. Октябри с январями в апреле — холодно, пасмурно, слякотно. Щиплется желтый подкрашенный воздух, и тянется-тянется здешний паршивенький вечер. Или здесь утро такое смердящее.

Вечером — утро.

Люди, круша свои беды, все борются.

Карлик обиделся, что никакая собака на цирке событий не помнит о нем, отвисающем ультраповинность.

А столько веков отступя, мы, сиречь ирреальные павы, существовавшие где-то когда-то, равно как и вовсе не существовавшие сроду, сегодня зловеще никто. Нам обижаться не надо. Нам обижаться на то, что в отстой-

нике Леты пропал интерес относительно роли пра-пращурства, глупо.

— Слушай, сама не своя, когда плачу. Слезы ручьями, четыре ручья, каждый горький...

Карлик ударился лбом о землю, сел у подножья дерева на красоту колокольчиков. Он узнал ошалело себя по штанам. Эта занятная часть его платья попала ему на глаза, как указатель имущего долженствования Карлика далее. Прочей приметой порядка на свете было высокое дерево — дерево-дуб ожило, помахав ему кроной.

Домашняя ловкая белка, целебная чудо-ладонь, юркнула по синяку на щеке верхолаза:

— Потрогай мой пульс, идти некуда...

— Чучело ты мое ненаглядное! — Карлик откликнулся, но в голове по камням у него застучали телеги.

30

Корреспонденция, поступающая сюда, формируется в оперативные кучки дневного цикла по степени важности, — кучки по степени важности строятся Карликом одновременно с его восприятием их ерундистики.

Письма предназначаются монстрам-мыслителям.

Это заказы правительства на составление грамотно дипломатических устных и письменных актов, инструкций, шпаргалок и галочек.

Это запросы, падшие просьбы министров и полуминистров оформить отмашку на жалобы люда, которому нечего жрать и смотреть.

Это записки пустопорожних организаций ниже по рангу.

Нечаянно руки зрителя-писаря вскрыли новый пакет из Общества Первых, оно сообщало, что здравствует.

— Умопостыдное свинство! — прокомментировал Общество писарь, едва пробегая глазами по тексту послания.

...Мы сообщаем еще неизвестное первыми.

...Мы знаем Адама, кто народился на свет первым, а кто первым усоп — информируйте, чтобы календари долго помнили, чтили.

— Недотепы, недообезьяны, кто первый засранец, у вас известно? То-то!.. Хотите, скажу?..

— ?..

— Нет, я не стану делиться такой государственной тайной с ублюдками.

31

В общем, инерция заблуждения хочет и может увести любопытствующего человека на гребень аферы.

Любопытствующий человек всегда натошак относительно знания беден.

И — натошак опрометчив.

Он, опрометчивый непоседа, — веруя, будто бы действует искренне по своему волевому выбору, — ворвется внезапно двумя сапогами куда-то на что-то нетвердое, зыбкое, где не ступал и сапог экскурсанта, но далее что? Ворваться — ворвется, но далее где продолжение соло? Закусит обрывком олады? Прозреет? И, кажется, рад? Если бы !..

Неправда, что будто бы там умудренный умелец обогащается по бездорожью новаторским опытом остро сюжетного хода ва-банк, и насчет удали выбора — неправовая неправда. Нет у него ни малейшего выбора по приговору. Всё, всё тут — инерция.

В общем, инерция заблуждения — как империя заблуждения.

В юности по математике, по физкультуре, по

чистописанию, по трудолюбию, по легкомыслию, по любопытству кошмара Карлик опережал одноклассников. Опережает он их и поныне. Поныне в унылую вялую пору, перенасыщенную перипетиями столь углубленных ошибок, инерция Карлику даже не мыслит обратную лестницу.

Но, может, юмор окрест еще выручит?

Окрест изобилие всяческих лысых, это — смешная картина происходящего наверняка понарошку.

Начиненная разными трюками фальши, включая напрасные, лысые, местные солнца, похожие на пузыри, — смешная картина происходящего наверняка понарошку взаправду, такая смешная картина давила Карлика всюду.

32

Конфиденциально провинциальная справка на тему нам опостылевшую.

За лето монстры-мыслители башни среди балдежа населения спятили более, чем остальные кто-либо с отрыжкой, как эхо. Лысые кладези мозга базарили, щелкали, чавкали, гавкали, шикали по-тарабарски свои междометия нечленораздельно без отдыха. Спать эти лысые так и ни разу не спали все лето.

Глядя на них, он оцепеневал — ужасался.

Прокоронованная веками привычка людского величия, величина, созидавшая спесь или веру, что будто бы вся наша жизнь обеспечена твердостью здравого смысла, ныне размокла, размякла вблизи препирательства жизни со смертью, когда бытие на конечной границе судьбы человека равняется небытию.

Стоп, я сюда на судьбу не просился, — ну, раз уж явились, то будьте не так отчужденны, пожалуйста, гостеприимны, пожалуйста, вежливы.

Будьте добры.

Самоеды.

Малая фишка в имуществе Космоса — гость ужасался недолго.

Карлик едва ли жалел о себе, что когда-то родился навстречу простору так искренне, — при всех обстоятельствах и неудачах он имел юмор и честь удостоить указанный Космос явлением одушевленного Карлика.

Малая фишка на пробу на плане событий, Карлик, имея навязчиво клинику пробной души невпопад и разборчивый развитый слух, импровизировал общий порядок из общего шума, который вне блага.

Звуки внутри самой башни, грубые звуки, похожие грубо по бойкости грубого тембра на шарканье голосовыми распухшими связками, как ангинозными, напоминали по трепету ритма готовые цельные фразы, произносимые порознь якобы хором:

— И пашем, и пляшем!.. И пашем, и пляшем!..

Ага, только вам и плясать.

— И пашем, и пляшем!..

Это же надо, какие народные пахары, думал он иронически, но крикуны-полиглоты повторно твердили свое:

— Пашем и пляшем!..

Безногие, думал он.

А крикуны беленились и фыркали сызнова:

— Пашем и пляшем!.. Оно!..

— Тсс!.. Оно — здесь. оно ходит...

— Оно — прячется... передвигается молча ногами...

— Где?

— Как оно постарело, как истошилось и как истаскалось изрядно по грязи...

— Пашем и пляшем, оно принесло табаку...

— Тихо вы, гной! — почти матерился распущенный либо рассерженный, либо расстроенный, либо растроганный Карлик. — Я кто вам? Я вам оно разве? Ну. хват-

ит! Я задарма на работе пашу тоже... Ладно... Доброе утро, товарищи!..

— Врет еще!.. Врешь извести с этой целью?..

— Доброе? Тьфу насчет утра...

— Карл, а тебе ваше тулово служит обузой для головы, когда вся голова тебе тоже бывает обузой для тулова?..

— Зверь оно! Рыбой жратвует, я видел...

— Это не зверь, это змей вертикальный, когда встrepеняются множества ног у него...

— Две ноги на количество сала — немного, нестайно для стаи...

— Рифмую, дверь — зверь!.. Она дико непредсказуема, то закрывается, то раскрывается, то закрывается...

— Рифмоплета-зануду по морде харчком укокошу...

— Карл, я прошу проходимцу-профессору выговор! А то врежьте пощечину.

— Пощечину мне, стихопес?

— Обязательно врежьте пощечину хаму ногой врукопашную.

— Зачем это ногоприкладство поэту?

— Нагогочусь...

— А то врежь... Я подавно, по-моему, нагогочусь...

— Есть еще рифма, зверь — дверь!..

— А до того, рифмозмей, была что?

— Дверь — зверь! Это разница. Наоборот у меня получается лучше, зверь — дверь!.. Исполински зеленая вся вопреки всему синему противовесу...

— Ну — рифмоблуд, извини!..

— Ты не лязгай, не лузгай, пройдоха.

— Спокойно вы! — пробовал окоротить их истерику писарь. — Одумайтесь, если, надеюсь, еще не забыли, как это делается.

— Кыш! — орала на Карлика монстры. — Пашем и пляшем, уйди!.. Кыш отсюда!.. Ступай!.. Мы тебя, паровоз, увольняем из этого дома домой... Думай сам, если надо... Сам истязайся цифирью, глаголю поносной хрипи на дому до напряжения морщин, освещая...

33

Вечером у раздосадованной головы номер один угрозило мало-помалу прорезаться призраку нового зуба.

Хирург ощерялся, кичился новинкой.

— Действительно, зуб, а не зуд и не шут изо рта — набалладил ему кто-то сбоку по левую сторону в ухо.

34

Помезану, — так уважительно, так уменьшительно ласково переименовал он имя сестре, — Помезаночку не дозовешься по-братски за стол усадить.

Она вовсе не дура.

Настропалилась отроковица-сестрица простецки по небу парить, и взмывает отсюда поверх облаков, околдованная высотой.

Карлик, уже которые сутки, держит открытыми настежь окна квартиры.

Пролетая над эспланадой ревущего, рьяного, будто бы пьяного моря, сестра Помезана кричит ему песенно что-то свое.

Карлик ей тоже по-своему:

— Боязно мне, Помезанка. Вдруг если столу, как якобы сослепу, ты на сей раз оборвешься в акулю закуску. Давай поскорей возвращайся, пожалуйста. Жду.

— Жди меня, братик, я скоро.

Глава вторая

ПОМЕЗАНА

1

.....
.....
.....И Т.Д.
и Т.П.

Это не для печати.

Глава третья

ИПЛАРИОН I

1

Очень известная шишка рассказывал.

Я рано вцепился в утопию тьфу-бытия молодыми зубами познания. Вцепившись, я всенаучно статейку сваял обывателю, дескать, обрыдлое тьфу-бытие, под эгидой которого мы загудели несчастно сюда напрокат, облапошило нас, охмурило, что будто бы мы генералы природы. Какие же мы генералы?

Какие же мы генералы, когда человек, удостоенный чина дурак, остается транзитной сугубо фигурой пути восвосяси на кладбище?

Статью напечатали в траурной рамке с портретом

автора.

Вторая статья была круче — там я зарекся, помру самобытно.

Беспечные жертвы закона свинцовой занозы в аорту, писал я, какие же мы генералы, когда генерал обречен уподобиться тле на цветке, потому что шальную глумливую пулю, попавшую горлу, никто не способен отхаркнуть обратно в оружие по траектории вылета?

Горькая правда, что все мы заранее смертны, стращал я, делает эту цветочную пыльную-пульную жизнь издевательски, как идиотски, бессмысленной жизнью, куда на свои похороны родимся насильственно в ужас убоя за каплю нектара, в оглобли тяжелой поденной работы, в оскомину простенько робкой судьбы, где родившийся будет унижен изъятием из обихода, то бишь, он будет однажды никто не по собственной воле.

Нам остается только самоубийство, как единственный выход уверенно распорядиться собой по-хозяйски, — но в этом у генерала должна быть эстетика чести, не правда ли?

Сладкая правда?

Сладкая.

Третьей статьёй, где поклялся, что скоро хлестово помру впереди стариков и детей, началась операция непослушания тьфу-бытию. Людишки поверили мне предварительно на слово. Сначала неглупые кум и кума поддержали мои постулаты по-свойски поочередно прыжками в омут. Естественно, прыгали спяну. Следом и прочие психи народа меня поддержали — кто на храпок истыкал иголками тощие вены, впуская, вливая наркотик, а кто на веревке за шею расправил отвисшую радикулитную спину. Помнится, некий сподвижник учения, будучи на девяносто процентов огульной соленой водой в организме, публично засох, объявив у себя голодовку протеста на пляже, — ныне внизу моего мав-

золея миляга музейно покоится весь искореженный, как ископаемый, словно плебейская мумия вяленой воблы в историю. Другой замечательный наш ученик — артистик. Он ошарашил общественность опытом исчезновения вместе со сценой капеллы на спевке. Бесследно, беспечно размытый тогда на волне колебания звука, тот Яшка в очко мирового сортира пропал, изойдя на пронзительный тенор. Это слишком искусство. Был Яшка — нет Яшки. Ни праха, ни пепла. Но все-таки детский, давнишний рентгеновский снимок утробы на память о нем обнаружили — дошлые внуки на память о нем обнаружили. Внуки нашли героично в альбоме потомства гастрит изнутри да прямую кишку наизнанку.

Был Яшка — нет Яшки.

Гастрит и кишка.

Мне самому почему-то везти — не везло.

Ни кишки, ни гастрита, ни праха.

Мешали мне.

Мешала мне по-настоящему сгнуть ответственность.

Ответственность автора модной теории, мощной теории, где вновь и вновь открывались отдельные приткие новости, шустрые блески большой глубины, — мне хотелось ее до конца распоясать и до конца расплескать ее, густо снабдить афоризмами, чтобы затем эти перлы добра-серебра принести философски на суд опаленной толпе читателей.

Правительство забеспокоилось, обеспокоилось опытом, ибо людишки, читая нелегально меня, разумеется, массово дошли в открытую. Народу грозила повальная смертность, и некуда было державе девать его битые кучи костей, которых у каждого трупа дохлятины более тысячи штук, а министрам отпущено разума на размышление меньше наперстка на всех. Они, закулисно мыча, думали-думали, всё что могли, передумали, перемычали,

когда, наконец, у соседней строптивой державы, страдавшей врожденно чесоткой, наняли на золотые запасы кавалерийские части... Кавалерийские?.. Надо же, слово какое ты правильно блеешь и знаешь... Я люблю научные термина... Ка... либо — ко... Коварелийстские?.. Ну, жеребчьи — понятно?.. Конскому войску защиты наметили скудную цель — одного меня саблями вырубить и зацензурить.

Я вышел и вынес орде на прощание тихое теплое слово напутствия:

— Рубильники! Раннюю смерть от удара по лбу принимаю наградой счастливого случая. Мне ваша свора — до Гулькина...

Лошади, выслушав, оторопели, заржали душевно, попадали навзничь, а пешие всадники — молча крошили себя палашами.

Так и закончилась эта неравная сеча вничью.

Кстати, министрам отставка была на сей раз обеспечена. Взял я, конечно, верховную власть и не первое красное лето красиво хожу в аксельбантах, а кто такой Гулькин, ей-ей, доселе не знаю. Хочешь, ответствуй мне, чем он известен. Или твои плодородные думы куда-то на поиски вечного духа далёко направлены? Дух — это мистика. Лучше про Гулькина — что за персона.

Тебе наденут аркан, и дух у тебя под овчиной мгновенно покинет обноски трусливого тела. Вот и вся вечность. Или ты не согласен?

Я чую, тебе не по вкусу мой звон отклонения в исповедь. Я раздражаю тебя, да? Не нравится, может, еще моя внешность? А моя власть у тебя вызывает икоту с испуга? Не нравятся внешность и власть?

Я внешне похож, это знаю, люблю, на хорошую связку бананов. Опух. И свиреп — от угодников и подхалимов. Я только снаружи маленько свиреп, а в интима души — часто писаюсь.

Относительно власти запомни слова, что приятственна всякая власть, если, конечно, располагаешь ею.

Таковы, Карлик, истины, до которых умельцу рукой подать, если, конечно, рука твоя длинная.

Что? Снова прищучил я тебя? Как я прищучил? А как и раньше. Когда ты на дереве был и свалился. Мы с этим еще разберемся потом, отчего ты свалился, какая была твоя тайная цель опорочить идею.

Глянь-ка сюда — сто томов!..

У меня сто томов, я писал их один, они толстые все, ты завидуешь?

Ах, это. по-твоему, чушь? Это — количество, не переходящее в якобы качество? Кому там известны какие три случая, когда получаются толстые книги? Давай раскрывайся последними картами, как и когда, почему получаются толстые книги взамен афоризма. Первый, когда продолжительно долго доказывают ежели то, чему сами не верят? Интересное рассуждение — плохо, что длинное тоже. Второй случай жду, не тяни кошку за кишки. Стало быть, это — когда на душе ни копейки таланта что-то сказать и сказать, увы, нечего, вот и льют они воду на пустоши каждой типично раздутой страницы тщеславия? Мне твоя партия мыслей до Гулькина, понял? Я золотое перо поколения, понял? Я совесть его проходимцев, основатель, утеха. Кто графоман, опосля разберемся.

Чем я, гляди, не Сократ?

А теперь еще сбоку гляди — не Платон?

И возвращайся на круги своя в отведенную камеру — там обезьяне комфорт и кроссворд.

Или — нет! Я сейчас уши себе заткну войлоком, а ты свое мнение снова сбреши.

Впустую, конечно, глухому, но как у тебя сгоряча всего-навсего мыслей за целый день остается там узенькая полоска поперек одинокой страницы, поделись опы-

том.

У меня самого вихрь идей постоянно присутствует, а ты вот узенькую полоску намывливаешь едва-едва за день.

Ибо лентяй.

Вспомни-ка, много-много-много писать и писать — это похоже, по твоему, на переедание?

Далее что наскулил, еще помнишь?

Я чье перо?

Мыши летучей перо, по-твоему?

Как, уже не перо?

Кто тогда?

скоробей?

Спасибо — выручил аттестат!..

Изыди... Не слышу, впрочем...

2

Древняя Шнурки мыкала время в ущелье — на дне.

Солнце кривыми лучами туда проникало кривыми путями.

Солнце туда проникало, — не каждую среду, конечно, — по средам.

Извечно пятнистый клочок обозримого неба давал ей прожиточный свет и тепло на дальнейшее благополучие.

Вокруг ущелья, где мыкая время, думали думы Шнурки, разросся, раскинулся лес и лежала большая равнина. Пенаты людей, вероятно, разумнее было бы располагать именно там, а не в яме. Но суеверные жители, видимо, боясь эпидемий, не селятся на сквозняке.

Ни бабы, ни мужики Шнурков еще не постигли науку цифири, но меру вещам они знали нисколько не хуже нашего брата.

Пенаты с удобствами для продолжительной жизни

деревня собирала себе хоромоподобные. Кормила-поила деревня себя делово без опеки товарного внешнего рынка, который своей конъюнктурой туда не проник и донине. В амбарах и на чердаках у хозяина каждого дома ароматический дух изобилия всяческой снеди. Лен и редиска под окнами каждого дома росли сообразно потребностям роста наперегонки. Добротная шкурная кожа домашней скотины шла после выделки на производство гармоний.

Печкам огонь и железо для кузниц они добывали себе воровством у вулкана — дряхлый вулкан оказался ничейным, однако, пока не погасшим.

Утром июльское ведро манило крестьян обрести напряжение мускульной силы, где человек и природа на редкость едины. Стояла пора сенокоса. В эту нелегкую пору порухи зеленого верха жуки, земляные красавцы, панически между корнями трясутся, что всю популяцию, всех их, отловят и скоро сожрут оснащенные косами хищные люди. Напрасно трясутся. Пора сенокоса — грибная пора. Шампиньоны кругом у корней молочая натканы к употреблению. Поэтому кушать усатое мясо жуков у косца нет охоты.

Косы, как острые молнии, падали вниз и вперед, отсекая пушистую гриву травы, поднимались и падали снова. Звенели, шуршали картавые косы по стеблям. Из этого звоношуршания косы хитрили составить одну задушевную, звонко шуршавшую фразу, которая, ка-жется, не лишена была смысла, хватавшего за сердце. «Любит — не любит, любит — не любит». Эти слова говорящей косы заглушали собой летний шум и другие шумы на лугу. Сами крестьяне трудились азартно до признаков изнеможения, трудились они до непрошеной боли, которая хуже горчичника жгла в онемевшей спине, трудились они до корявого пота ручьями по пузу. Любит — не любит. Уже пополудни рабочий народ, отдохнувший за

время большой передышки, снова бросался косить и потеть, и коса мужику говорила про бабу подначливо, любит — не любит, любит — не любит.

Издерганные, растормошенные ворожкой не по делу, косцы возвращаются в избы страдальчески запоздно. Мужик изощрен и велик убедиться, что струями нежного шепота любит, и как еще любит опорная женщина грубую плоть у тебя до малейшей морщинки, любит и как еще любит, а длинная ночка сама потакает ей в этой любви. Не торопись успевать, и балдейте на пару, покудова ночь-серебро не сокроется тихо на поле за лесом.

Однажды среди состоявшейся ночи раздался чужой человеческий вопль из избы старика Балалайкина Борьки.

Ночь эта...

Ночь эта была последней для деревни Шнурки.

3

С оравой нахалов-единомышленников Илларион инспектировал области, что расположены справа по карте, — в этом углу государства таких областей было несколько.

Нахалы конспиративно хромали на костылях и в обмотках, изображая калек обнищавшей среды подворотен. Эх, если бы такого калеку, мечтали нахалы, кто-либо позарится стукнуть!.. Эх, если позарится двинуть ухватом!.. Если позарится, будет улика — разграбим обидчику сад или храм...

Охая конспиративно, стоная с ухмылками, двигалась эта комиссия физиономий гуськом из имперской столицы по некультурному волглому лесу, где только черт-те чего не цвело вперемешку с ягодами росы, похо-

жими на прозрачные бородавки. В однообразии хаоса леса нахалы нашли развлечение, считали деревья по сторонам. Уже на четвертой просчитанной тысяче вспыхнула между нахалами склока противостояний. Кто-то назвал окончательной цифру три тысячи двести стволов, а кому-то подобная цифра казалась опиской статистики. Три полновесные тысячи плюс еще триста два дерева кряду. Ваши три двести поэтому — вздор, а не лес!..

У нахала, кого ни возьми, глаза мимосмотрящие. Нахалу присуща размытость оптической точки, нет у него центра тяжести взгляду. Но главное сходство нахалов, — оно здесь и главное свойство нахалов, — оно состояло в отсутствии, — что за чудные слова: состояло в отсутствии, — главное сходство нахалов, опять ухожу не туда, состояло в отсутствии нравственной воли на взлет. Или не взлет, а хотя бы подъем ото сна.

Вот идет Икс, а вот — Игрек. Оба в отряде нахалов уже ветераны по всему фронту грызни за престиж, оба, неутомимые, неутолимые, по непутевому перебивались из осени в осень обновками на шармака. Ну, например, этот Икс опоясан алмазами виноторговца, какого легально когда-то пугнул острой. Зато нахал Игрек окончил образование. Чтобы дипломом отличника шибко смутить Иксу душу в отместку за виноторговца, какого тому на поживу послала судьба, нахал Игрек окончил астральные курсы на верхогляда провинции, где перенял у друзей-звездоплетов осанку да легкую поступь, а молодую жену — силком одолжил у зубного врача навсегда.

Нахал Икс, это было нормально, подсиживал Игрека, возненавидев его за рулады, которые тот исполнял улаждающе.

— Три тысячи триста-а!.. — пел он эпифору голосом юного тетеревятника.

Был он изнеженный, был избалованный взбал-

мошно сызмальства. К Иллариону корыстно примкнул изощряться по части греха на широкую ногу.

— Ты не сверли меня, сволочь! — Икс, у которого злорада затмила дубами рассудок, оскалился на сотоварища.

Не было средства заполучить у того шелкопера золотое сечение горла, присвоить удачу вибрации звука, не было нитки тянуть у него свистокрылую трель изо рта на себя.

— Три тысячи двести. Пожалуйста — веники либо венки...

— Вези меня вдоль и поперек! — Икс, озверевший в итоге провала приватизировать Игрека, больше не мог утерпеть и вскочил ему на спину, как ишаку, продолжая браниться. — Хребет обостирл!.. Окончил похабные курсы, но будешь отныне внизу...

— Выразительно цокаю, всадник? Одобри, не ври...

Жизнь — это вечные верх или низ.

Игреку надо подробно запомнить ужасные стуки наездника — ляжками, словно котлетами, по животу...

Назавтра, возможно, скакун, обученный, поднатопивший, проженный, прищпорит избранника-дебютанта на скачках и будет уверенно драть огольца между ног.



Илларион обходил, огибал обгорелые пни.

Комиссия, шествуя сзади, наткнулась ему на пятки.

— Тише, мозоли когтями попортите! — шепнул он, отскакивая впрысядку.

Нахалы-сподвижники падали ниц и лизали возможные раны кормильца, спеша на карачках и сызнова падая. Монарх эти бритые морды пинал обнаженной пятой, потому что щекотно лизали. Босая пята впечатляла

своими размерами вполкирпича.

Несколько дней монарха тошнило тоска меланхолика.

Всякий раз удручали монарха пейзажи напрасных окраин, избушки, торчащие наперекос и всегда поперек его взора — скорлупки барочного блеклого типа были несметны числом и фактически — вне досягаемости. Монарх изнемог от искуса войти вероломно во все прокопченные двери, войти во все дыры халуп и скорлуп, испытать обывателей на поклонение, вызвать их оторопь и покуражиться. Войти во все дыры на свете немислимо. Значит и власть у него не вполне козырная, — по существу, как условная, — как удел импотента на фоне гуляющих юбок, — а хочется пробы на зуб, а не просто, когда видит око.

Самые хитросплетенные планы проникнуть инкогнито на глубину во глубину народа терпели фиаско. Молва на местах опережала визиты комиссии. Монарха повсюду встречали народные пьянки, но все — в его честь. Оказывается, на расстоянии за километры до сельских околиц о нем уже знали, что прется сюда. Причиной прокола секретности были не происки супер-агентов, а сапоги к юбилею. Знакомый лояльный сапожник и подхалим изготовил ему назаказ эти громкие раструбы, предусмотрев оглушительный скрип у подметок.

— Это, чтобы не сперли нечаянно в бане...

— Да, да, чтобы не сперли, — соглашался монарх.

— А что, слушок есть?..

Илларион обрешил отказаться напрочь от обуви, как от услуги прислуги, подвохи которой накладны. Монарх, ежедневно, меняя внезапно маршруты, шагал обходными тропами по бездорожью, крался босой по кошачьи на цыпочках.

Охрана, сподвижники сзади, нахалы комиссии

немедленно тоже разулись, увидев его натуральные старшие пятки.

5

Когда комиссия вдруг одолела препятствия леса, то вышла босая к аграрному полю гречихи, но здесь обнаружила новую драму, что члены комиссии вроде бы сами нисколько не члены комиссии, наоборот, они вроде бы даже нигде на земле не находятся, что непосредственно поля такого по карте не видно.

Карта по старости лет изорвалась, и нужный лоскут у нее потеряли.

Всякий несчастный бродяга, кому хоть однажды судьба подсурипила драмой, кому навязала беду заблудиться, помнит и панику, помнит и чувство потери себя, страх ощущения вашей ничтожности, вашей никчемности. Вообще-то вы больше никто. Правда, покуда нахалы валандались и горевали на тему своей повсеместной безбытности, слезоточиво покуда мусолили нонсенс отсутствия прежнего самосебячества. слева неожиданно возникла деревня Шнурки с опознавательными дымами кухонь и кузниц.

6

Это шик, отметил Илларион деревню Шнурки, что выделялось из обязательного рабоче-крестьянского хоса, где постоянно монарха трудящихся гнуло ко сну по причине большой безалаберной бедности граждан и мусора.

Здесь у ворот, — и направо-налево мурсы, — не было свалок.

У каждого дома стояли станки для вязания платья, гуляла большая живая свинья, кошка млела, творился хо-

зыйский порядок и толк, и лужайка была вместо лужи.

Вокруг обитали веселые местные жители разного пола.

7

Тесно кольцом обступившие группку гостей мужики с ихними бабами ждали тактично начала знакомства.

— Почему вы притихли, комоды? — гавкнул Илларион и затопал обеими руководящими пятками на любопытствующих аборигенов.

— Ага, — подтвердили нахалы. — Наставить им оплеух?

— Они дара слова лишились, обалдели. Немедленно подогревательный митинг устройте.

Нахалы нафыркали гамму сгущенной серьезности.

Главнейший нахал из охраны монарха тотчас отозвался, тотчас оказался на митинге первым и прозвучал убедительно речью для простонародья пространства.

После него с этой-то речью шумно выступили другие нахалы, кто помнил ее наизусть, ибо тоже зубрил ежедневно по два часа кряду взახлеб ее страсти на случай рождественских елок, а также на все посторонние случаи жизни.

Кто — просто на дурака.

Речь их, естественно, посвящалась Иллариону.

Монарх, обрисованный средствами сборно-служебного сленга, был еще знаете кем?

Его называли кувалдой, стропилой, сохой, дирижером оркестра слепых музыкантов и даже калиткой на спорищах.

Ему ничего не мешало многожды быть и этим и тем.

Отец-одиночка народов, он оставался прожектором, он освещал акварелью народы...

Наблюдая манеру толпы канителиться, тот отец

исподлобья прослеживал оси базаровращения подле него. Странная, страшная шатия собрана подле него — вся краснорожая, как алкаши первомайского хода и под музыку на барабанах.

Илларион изучал ее сверху, следил ее донизу.

Вроде бы вся краснорожая, наша — но далеко не такая присущая хроникам опухоль.

Она, — старомодные лапти с онучами, — вся подозрительно весело шепчется, квакает, определяет и недопустимо скалит окрепшие спелые зубы, похожие на кулачища.

Гамузом едко хихикает и потешается.

Не признают эти лапти с онучами подлинник, — явочный фактор истории не признают они за своего верховода, не принимают его за монарха, но принимают его за хмыря на подхвате потери сопли, в общем, у них или гонору невпроворот, или семья не шурупит устава на дыбе.

Смеются?..

Смеются хохашки!..

Монарху — не до веселия вместе.

Вредила монарху работать успешно монархом одна заскорузлая бабка Матвеевна Фроська, которая пялила в Иллариона, глядя в упор и в укор, оловянные зенки-гипнозозносители.

Местная злейшая ведьма, подумал он, и повернулся к опасности боком, а то припаркует еще золотушные стружья ребенку на лысину.

Век опосля будешь икать у зеркала нервными тиками.

Нахалы, слегка повздыхав и побрякав, округлили дубляж одиозной вступительной речи:

— Не двигаться, чтобы кого не пришлось убивать. Улыбайтесь и ждите порядка. Просим у нашего батьки.

Вынесли коврик.

Илларион обработал его, попирая пятками мех.

У шнурковчан, у толпы населения, брякнула реплика:

— Запачкал, а чтобы на стенку повесить!..

— Удавы! — маской при помощи светозащищенных очков Илларион игнорировал отзвуки племса.

В ярких очках и на коврике помолодевший монарх оживился. Мгновенно какая-то дурь изнутри, передернув ему колесницу внимания, преобразила монарха, создала монарху привычный комфорт одержимости на крутизне сатанинского ража молоть языком околесицу. Как откровенное свойство простого характера, дурь у него выползла на морду помочь его власти снаружи. Монарх уважал артистично практичную дурь изнутри для наружности. Благодаря, небось, этой хвалебной воровашке, народоначальник Илларион осветил академии, стрельбища, тюрьмы, полотница, клубы, пекарни, больницы, столбы своим именем — именем Иллариона. Куда ни входи — видишь имя большими печатными буквами. Напоследок отзывчивый малый присвоил его за большие заслуги себе самому — вторично.

Хорошо, что нетриединично, хорошо — не посмертно.

Конферансьешки-нахалы стремглав объявили, дескать, Илларион имени, дескать, Иллариона вам указующе выскажет истину-матку не за глаза...

Поплевав упрощенно себе на ладони, монарх имени, дескать Иллариона, перекрестился находчиво для показухи.

— Крестьянены! — рывкнул оратор увесисто.

8

Этюд о любви не давался.

Карлик искал Атлантиду, но сколько ни млей, здесь

ее дружески прятали, не вызывали на подиум, а время — не ждало.

Не башня, где был он устроено дублером, а здесь, в этом этюде, где Карлик искал и ничего не нашел, он и прожил активную по гениальности жизнь.

9

— Крестьянены! — рявкнул оратор увесисто в уши толпе, но тотчас убавил усердия на полтора децибела примерно, когда неожиданно снова споткнулся глазами на бабке Матвеевне Фроське. — Вы сладкое, задники, любите?.. Любите сладкое?.. Любите?.. Всех угощаю конфетами, кролики?.. Всех угощаю небрежно конфетами!..

— Всех — это зря! — шептали нахалы.

— На всех и не хватит... Эй, ты, лохматый, что вял? Усопаешь? Иди - познакоимся... Тебя не по-нашему как-то зовут? Имя тебе, старик, есть? Или ты безымянный в овраге промежности выкидыш?..

— Я Борька, — смущенно спросонок ответил известный шнурковский драчун и молчун. — Я, кажется, Борька.

— Что — Борька? Далее как аттестуют? Отвечай, говори, не размазывай кал у мундира, пока не просохло.

— Не знаю, как оно далее, — покаялся чисто-сердечно драчун и молчун.

— А подумай — неплохо получишь. Оно — пока сохнет.

— Борька, может, имени Борьки? — моргая, догадливый Балалайкин изумился впервые себе самому.

— Что значит — имени Борьки? Ты до того не дорос, и вообще — не хами, не моргай человеку, лохматый... Крестьянены, жалую Борьке пригоршню лакомства, как обещал!.. Удавы, сиречь уголовники, как

обещал...

— Елки-палки! — Борька, держа монпансье, мечтал о свободе вернуть эти камушки страннику, чтобы затем удалиться по-прежнему в односельчане.

— Конфетки — все как одна!..

— Как угольки.

— Задумайся, сколько тебе привалило.

— Счета сроду боюсь, — отвечал ему Борька. — Потому что когда не считаешь, оно все, что надо считать, оно все здесь, а посчитал — его мало.

— Дикарь — а дурак!..

— А быть умным — опасно.

— Да, нет, ерунда!.. Хочешь учиться — гляди!.. Вот это, по-твоему, что?

— Конфеты. Вы сами сказали.

— Где первая штука среди всего вороха?..

— Где?

— Вот она, вот она, Борька!.. рядом уснула вторая конфета для разнообразия. Вторую запомнил? А дальше что?

— Что?

— Третья, четвертая, пятая.

— Ну?

— Третью, четвертую, пятую видишь? Они, Борька, тоже конфеты. Пятая...

— Конфета?

— Шестая — конфета. Седьмая конфета не хуже шестой. За ней пошла сразу восьмая, которая тоже не хуже седьмой... Все... Пишу на блокнот эти факты...

Покуда монарх импровизировал острозаточенной палочкой необходимый текст, фиксируя наше слабо-вековье, Матвеевна Фроська, сочувствовала страннику, будто бы сыну, который слегка не того.

Контуженный, думала бабка Матвеевна Фроська, жалея монарха.

Ведь он обносился, похерил обувку, поэтому лапы раскисли топтать утомленную почву.

Бродяга содержит ораву друзей-прихлебателей, так они сами сказали, мол, ихняя шайка на шее поводыря.

Такой сердобольный мямля.

Борьке лекарство дал, облегчая страдания по кашлю.

Борька ночами дохает — ужас один это слушать, а слышно.

— Ты где, продолжаем урок, — Илларион оглянулся на Балалайкина. — Повтори мне, что мы прошлый раз изучали, попка-дурак.

— Их изучали, — Борька смотрел исподлобья себе на ладонь испытующе нагло.

— Сколько там их у тебя, подсчитай.

— Эта по номеру первая, да?

— Ты не мнись.

— Эта шестая по номеру...

— Как она сразу шестая? Которая?

— Которая ближе четвертой является по серединке.

— Стоп! У тебя, дорогой негодяй, здесь ошибки. Где третья?

— Вам она, что ли родня? — Балалайкин отлынивал от устремлений сотрудничать искренне.

— Пятую вовремя надо назвать — или нет?

— И седьмую? Съел их, а были...

— Мошенник!

— И сплыли...

— Сразу же проворовался!.. Примкни к остальным и послушай... Все, несмотря на существенный зуд естества, послушайте вдумчиво, прыщики!... С этой минуты ваша провинция покорена, вы согласны?.. Хотите ко мне под эгиду? Под иго? Спасибо, ребята. Мое государство, куда всей деревней поштучно, подушно, пошкурно беру

вас, орлы-мужики, под уздцы на поруки, мое государство, чтобы вы знали, Страна Лизоблюдия, краше других. Уточню, куры-бабы... Там, у других, обострение противоречий. Понятно? Здесь, у меня, по-другому. Страной правит аристократия, наука. Сейчас объясню, что такое наука... Наука накаркала цивилизацию, предусмотрела паяльник и поезд... Эй, Борька, сочти сколько верст у тебя до Парижа по железной дороге пешком... А пока, предлагаю, запомните день обнимания вашей деревни с империей!.. дескать, юлило, запомните, здешнее чрево пейзажа, где густо росла на блины беспризорная рожь, а старуха... Старуха зачем еще здесь?.. Ей давно провалиться...

— Нет, я по грудям обращаюсь! — ответила бабка Матвеевна Фроська. — Болят окаянные. Васька по кашлю с удушьем устал, а меня доканают они.

— По грудям? — Илларион аж отшатнулся. — Кто здесь еще по грудям? Я хочу жрать, а не тискаться...

— Жрать, а не тискаться! — повторили нахалы.

— Но прежде потеха, — монарх извлек из-за пазухи странную вещь и прищурился, слушая, как она звякала будто бы шпорами в окна. — Потеха, согласно закону, положена после торжественной части на митинге.

— Время потехи, — завыли нахалы. — Где ваше солнце, деревня?

Странная вещь у монарха в руках напоминала гранату на ремешке — монарх отверткой ногтя царапнул ее механизм, она не взорвалась.

Илларион изуверски прищурился:

— Видите, сколько чего?..

Вещь оказалась ахти какой псевдогранатой по типу конструкции.

— Где ваше солнце? — пытали нахалы деревню.

— Заглядывает иногда по средам, — ответствовала со вздохом обиды на солнце деревня.

— Редко заглядывает, а наши часы на посту день и ночь! Они день и ночь ударяют удары, считая течение жизни. Жизнь отстает, а часы - никогда.

— Долго мне ждать окончания прений? — хмыкнул ехидно монарх. — Я теперь ихнее солнце.

Когда забегала бесами перед очками начальства. Прилюдную критику приняли все хорошо, как укол острия между ребер. Являя готовность исправиться, каждый спешил отличиться.

— Где там указ о порядке потехи? Стране покажи.

— Вы сами возглавите читку? — ближайший по штату нахал и хранитель Указа мгновенно поднес его папе.

— Возглавляю, но документик испорчен изрядно, — монарх обнюхал указ. — Изрядно листки твоей торбой воняют.

— Убрать?

— Убери, сам огласишь эту вонь.

— Усек.

— Оглашай помаленьку.

— Граждане! Для воспаления плоти...

— Болван или кто?.. Для воспаления?.. Для воспарения!.. Для воспарения!.. для воспарения...

— Для воспарения?.. Запоминающе... Граждане, для воспарения плоти на сушках указывается...

— Надо же так исказить! Еще сушки? Где сушки? Там — иначе. Не плоти на сушках, а плоти насущной... Пора в эмиграцию...

— Да, да...

— Что да, да? Мне пора в эмиграцию?..

— Да, на каких еще сушках? Оно тут и сказано — как уточнили. Для воспарения плоти насущной на пробу ввести по стране комендантские дни потехи.

— Ввести насовсем, — обнадежил общественность Илларион.

— Особые самоуправные дни расточительства,

пьянства, разврата...

— Разврата! — выкрикнул, очумевая, монарх.

— И дни кумовства, хвастовства, мордобоя, — перечислял исполнитель Указа вслух.

— Иначе вы все все равно каждодневно воруете, но календарные дни воровства, кумовства, шельмовства, мотовства, календарные дни вас обяжут — упри по закону...

Деревня соборно вникла в Указ.

— И будут еще впереди фейерверки, где сможете бить у соседей носы, потому что простому народу, как удовольствие против обыденной прозы, нужны — праздники, — польстил, искушая деревню, хреновый хранитель Указа в архиве зловония торбы. — Мне продолжать?

— Открой-ка, минуя страницу, параграф эротики.

— Пятый? публично дозволены секс и насилие без одеяла. Как объявили потеху, не мешкайте, хватайте за попу... Знаете, попа где?.. Показать им?

— Обойдутся, пусть они сами додумают это.

— Можно хватать одинокое либо замужнее, чтобы похабно хотеть его...

— Стой! — дал отмашку монарх. — Это вздор! Это кого здесь им? Это которую вся по грудям? Это некого.

Деревня без оптимизма прослушивала речи пришельцев и хмуро молчала в ответ, обмеряя в уме чертовщину, как ей понимать их устройство потехи. Нос у соседа не заслужил избиения, добрая тетка Матвеевна Фроська подавно слыла хлебосольной хозяйкой при муже, который не даст оскорбить ее честь. Если пусть этой потехи не будет, а будет игра на гармошке...

Деревня стояла почти полчаса неподвижно.

Монарх и нахалы, конечно, могли применить убеждение силой.

Но Балалайкин осмелился снова приблизиться к Иллариону:

-
- Тхе-тхе... Не побрезгуйте выслушать...
— Откашляйся, Борька.
— Тхе-тхе...
— Ну, что ты мне скажешь, откашлявшись?
— А мы, Ваша Светость Ученый, подумали малую просьбу подать.
— Если малая просьба по малой нужде, разрешаю.
— Вы, как ученые люди, когда натощак... Откушать еды можно проще простого... дело к обеду, баранчик упрел и годится на блюдо...
— Баранчик? Я не диете.
— На травке, что ли? — Борька помялся. — Такое пузцо накопили на траве?
— Какое?
— Не всякий сундук уместит его целиком, а сами на травке?

10

В избе старика Балалайкина Борьки монарх обжирался бараниной.

Вскоре монарху на стол уложили красиво свинью, запеченную в яблоках.

Он ел и рыдал.

Остервенело рыдал, истязая свиную кисту.

— Что за поруха! — мысленно Борька дивился, куда же, мол, это все влезло.

Нахалы бдили на страже с улицы.

Монарх отбрасывал им огрызки через окно:

— Диापедики, будьте любезны — гимн! Ублажайте меня до конца.

Нахалы заместо скрипучего по лесу ветра завыли какое-то гнусное пение.

Борька, взирая на гору костей филигранной работы, пошел из избы по другим интересам, — изба тош-

нотворно давила на грудь атмосферой, — запахи приторной пищи с угаром удушья погнали спасаться во двор.

У Борьки возникло предчувствие, что посреди прослоенного неба находится где-то высоко твой брат, — о нем ясновидящий в эту минуту Борька ни разу не слышал, и все-таки знал его там.

— Эй, ты, старик-урод! — окликнули Борьку.

Подле был юный балбес из отряда монарха.

— Тебе папироску, не рано ли начал? — улыбнулся Борька.

— Вези меня, старче, верхом у тебя на горбу по деревне, чтобы все видели! — вякнул юнец.

У старика-драчуна задрожали поджилки:

— Ты, сирота, не дури.

В уборе текущего лунного золота небо слоями ползло мимо крыш и верхушек осин.

Эти деревья, фактически густо зеленые, были фактически рыжими.

Но дрожь, овладевшая Борькой, трясла старика на другом основании.

Со смеху.

Борька хотел и не мог обуздаться.

— Кто сирота, разберемся! — нервничал юноша. — Читай мою ксивную метрику, где что написано... Законного брака потомственный...

Борька порядком устал и разбито вернулся домой, как израненный жалом осы.

Немного слащаво зудела спина, запотевшая после вибрации, вызванной взрывами хохота.

II

Монарх, указуя на кошку, спросил:

— Это кто? Съедобное?

— Кошка-то?

— Честь отдает? С улицы в избу вошла — сразу лапами честь инвалиду.

— Ваша светлость, ужасно блудливая тварь.

— Изволь отчитаться подробно, как оценить это. Разве народу понятно, кто светлость и где кошка в услышанной реплике? На слух ерунда получается, будто бы светлость — ужасно блудливая тварь.

— Я про кошку подумал, а вы понапрасну себя подставляете.

— Не думай про кошек. От их организма разводятся мыши. Мышей сами кошки разводят. Это для провокации тайный тактический ход уцелеть и прослыть у хозяина стражами сала. Порви свою, мыши тотчас исчезнут. Я пса на подмогу пришлю.

— Большая собака?

— Большая — с хвостом!.. У меня на груди чья медаль?..

— А неужто собачья?

Покудова гость аккуратно раскладывал оползни брюха плашмя в углубленной постели за шторами, где приготовили пуховики, Борька навытяжку возле Матвеевны Фроськи вдоль узкого теса полатей дремал, уступая сознание первому сну.

Вдруг отзвенела собачья медаль.

Он упал, и проснулся.

Когда Балалайкин упал, он уловил отголоски повторного звяканья — между тарелками наверняка набирает очки блудливая кошка.

Старик изловчился впотьмах ошарашить ублюдицу плетью.

Деревню потряс оглушительный вопль, и вопила не кошка.

Вопил оглашенно монарх.

Огретый неласково плетью по голой спине, вен-

ценосный подпрыгнул и выпрыгнул аж из избы, нагишом улета в окно:

— Ребята, мяте-ежж!..

12

Он озирал из окопного свежего рва непосредственно жуть у деревни Шнурки.

Туда нагнетали форсунками бяку горячей химической слизи.

Монарх излучал из окопа свое сладострастие на предстоящие новые смерти деревни Шнурки, где проходили последние муки, последние крики, последние корчи сопутствующей белиберды, когда перископ у монарха споткнулся видеоискателем о Балалайкина Борьку с ухмылкой, значение коей монарх оценил отрицательно, как издевательство заново.

— Тромб, изыди! — занервничал Илларион, осуждая кривляния жертвы. — Зачем огрызаешься вопреки пеклу?

13

Ступка за ступкой горели в амбаре дешевые ступки крестьянского скудного скарба, пылала щеколда ворот, и роем озлобленных огненных ос из-за пазухи разом исчезла махорка.

Старик удручался предложенной смертью — что она для него слишком простовата.

Галстука даже не надо.

Когда-то Борька на случай своей предстоящей кончины когда-то купил у цыгана поношенный шелковый галстук.

Утро должно быть у Борьки на случай кончины.

При галстукe Борька на смертном одре торжественно значится важным объектом озябшей деревни, как и сама колокольня, которая посередине всего

Первая стадия бедствия шла не стеной.

Покудова первая стадия бедствия шла на него не стеной, Борька стоял у колодца, где во спасение шкуры для галстука мог обновить эту древнюю впадину, как убежище.

Мог и не мог.

Если в опасности ваша супруга Матвеевна Фроська, надо спасать ее вместо себя, чтобы потом и кидаться в обнимку на дно.

14

Принесли полководческий плед иностранного кроя, вынесли те сапоги, что со скрипом и треском, и трость.

Эту прогулку, — внизу по колено была настоящая ночь, а затылок обшарпало солнце зенита, — монарх обозвал идиотством обузы.

Прикосновение трости к остывшим углям и золе поднимало вонючую грязную пыль, облачками взлетающую бестолку, чтобы развеяться бестолку долу.

Когда наконецник уткнулся во что-то печеное, монарх осмотрел эту дряблую пару мешочков и понял особенность этой находки.

Вся грудь упокойницы бабки Матвеевны Фроськи, смекнул он.

Около трупа старухи внезапно возникла блудливая борькина кошка.

Лысая, голая, — вовсе бесцветная, вовсе неборькина, — борькина кошка, блистая змеино-кошачьей поверхностью, вскочила на задние лапы, чтобы перед-

ними лапами честь отдать Иллариону.

Видимо, дура знает устав.

И монарх его знает, — ответил ей, как и положенно, — честью на честь.

И все равно кошка дура — пар от ее присутствия шел отвратительный.

Глава четвертая

И НА СМЕХ, И НА СМЕРТЬ

1

— Стол изготовлен из абиссинского черного мрамора... Вручную... Для митинга с флагом...

Я слушал экскурсовода по-русски вполуха.

— Но по воле монарха все митинги перенесли на другие века, потому что монарху понравился стол и понравился флаг в интерьере своего кабинета...

2

Под государственным флагом, ибо в присутствии флага тускнеет намордник морщинок, Илларион отдыхал у камина, попирая мозолями костного мозга некую плотскую ткань, а наготове в углу стоял флаг, — если когда кто-нибудь обращался за милостью пересказать анекдот или сплетню, монарх обретал изворотливо позу величия римских колонн и мгновенно протягивал руку за флагом.

Издевства, часто некстати, монарх умилялся пожа-

рам, а далее, позже, по мере накрутки годин и матерого промысла, свой постоянный рабочий досуг он умно коротал у камина, где театр огня.

Перед очками монарха мелькала несметная прорва снующих абстракций контраста, цвели фантазийно гримасами психопатичные виды растений вприпрыжку, смешное — смешило, пылало, текло.

Всю паранойю картин ералаша в камине, пожалуй, не перечислишь и за ночь, имей ты хоть улицу пядей во лбу.

Сугубо подвижная живопись, утверждают ученые куклы дискуссий, когда говорят об огне чепуху. Чертовы куклы кусаться суются судить об огне, мол, огню-то, конечно, похлеще любого художника-дерьмоглотателя доступны шедевры, которые в этой связи дерьмоед у него повсеместно заимствует и, разумеется, вяло насилуют их отражения на полотно себе. Надо художников искоренять, игнорируя жалобы.

Мое мнение будет иным.

Я посрамлю камнесловие.

Но как?

Огонь, очевидно, сродни живописцу, но как?

Истина замаскирована где-то в обратную сторону, где живописец-едок, исполняя шедевры доподлинно заново разжигает огонь искры божией сам у себя.

Немедля поставлю вопрос.

Я попозже поставлю вопрос, а немедля рассмотрим ответ, а потом и вопрос оглашу.

Когда гениального мастера сильно шпыняют и не дают ему шага сказать о себе на полотнищах искрами, то поделом его сильно шпыняют. Изделия мастера могут явиться причиной бесхозного пламени вкупе с его воронными дымами.

В этой связи мой вопрос — а почто?

Пошто гениальный творитель у нас уязвимее, чем

аккуратный пачкун акробат? Я вам ответил уже наводяще, но добавлю к ответу, что мне безопаснее стиль акробата, хотя нарисовано там у него больше гонора, нежели дела. Претензию, дескать, этюд акробата неважно составлен, акробаты принимают обиженно, пряча поникшие кисти за шкафом и выставляя грудные жиры в оборону. Лучше нельзя, говорят. И действительно, лучше нельзя, потому что в этюде, в эскизе, в экстазе пачкун исчерпал однофазную порцию дара до дна.

Скажи то же самое гению, тот извинится за промах и сразу признает ошибку, заявит ответственно тезу, что можно бы, надо бы лучше, конечно.

Гении полностью не высыхают и после шедевра, поэтому не возражаю бить их, игнорируя жалобы, не возражаю бить их. А морды-то?..

Но гениальные брезгуют ожесточиться на жалобы, нет, они вам скорее поджучат еще новый шедевр.

3

А пошто?

Пошто гениальный творитель у нас уязвимее, чем аккуратный?

4

— По службе, — дежурный костлявый нахал объявился в его кабинете согбенно шутком, опоясанным упряжкой для развлечения.

Чулки до коленок и серьги-звоночки в ушах, а на шее висит ожерелье.

— В чем дело? — монарху наскучило дергаться часто за флагом и ставить его восвояси. — Плохо кормлю?

— Занедужилось...

— Ой-ли! — монарх испытующе ласково щупал нахала глазами. — Лакаешь яичный желток, где зародыш, а зад у тебя — не луна.

— Прибег показать геморроя.

— Когда я тебя примерял, его не было, — напомнил монарх ему процедуру отбора. — Не было?

— Не было, — вспомнил нахал процедуру. — Вот, а теперь я зеленкой помазал.

— А ну, покажи-ка. Поближе к огню.

— Пожалуйста.

— Мда... Не кусается?

— Чешется.

— Пошевели-ка слепой кишкой. Не прошло?

— Нет, еще хуже.

Нахала мутила такая работа, как эта, но дома — большая семья в ожидании блага и блюда.

Малые дети — с угрозой пустить его по миру...

Слепые сестрицы — с ожогами лишней косметикой...

Седая супруга — с усами, как у таракана.

Все домочадцы — задиристо нетравоядны...

— Страшно, какую грибницу ты выкрасил! — осерчал Илларион.

— А вы зачем уезжали?

— Ну, по делам уезжал и приехал.

— А геморрой разболелся, соскучившись.

— Ежели не было ранее, как он, еще ни разу не видясь, успел интересно соскучиться? Не понимаю. Ты врешь.

— Учитель, а мы тут одну бабу для вас отловили. Девчонка по небу летала нагая.

— Наверняка диверсантка. Для маскировки нагая. На каком аппарате летала? На метле?

— Без аппарата летала зигзагами под облаками са-

ма по себе пуще птахини.

— По-твоему не диверсантка зигзагами?

— Красивая справная девка. Грудь лоснятся по поясу.

— А кроме груди что?

— Да задница тоже, капроновой сетью насилу поймали.

— Как удалось-то?

— Кому-то, не помню, по хлеборезке пяткой летунья выбила спереди клык, а другому кому-то палец отъела до локтя.

— Не врал бы! Как это палец до локтя?

— Не вру. Мне складно так и не выдумать, а калека родился калекой только с одним указательным пальцем на правой культяпой руке.

— Не густо! На что же рассчитывал он, обалдуй?

— Что на жизнь одного пальца хватит ему.

— В носу ковырять?

— И указывать — тоже.

— А вдруг если что до пяти надо счесть — тогда как? О, бездельники!..

— Лодыри, лодыри...

— Ладно, с калекой закончили. Ты дальше докладывай вздор.

— А дальше здесь опять...

— Охотничьи полчища блох отправляли на волю?

— Конечно! По расписанию.

— Мда, блохи! Весьма хитроумное средство. Крайне полезное для бичевания масс. А людишки, небось, употели чесаться.

— До бешеной крови.

— Так, так.

— Учитель!..

— Основатель!..

— Основатель, а дальше про голую надо подробно

докладывать?

— Я ханжа в отношении противоположного пола. Помню, мне в бурсе приснилась одна раскладуха, на ком и попался. Мне женщины снятся к несчастью.

— Они сплошь и рядом приносят несчастье, — согласился нахал. — Я тоже в школе был двоечником и даже хватал единицы.

— То — ты, а то — я! — вскипел Илларион. — А то — девка...

— В закрытом бассейне секретно содержится, вынуть ее? — нахал юркнул за дверь гиеной с коротким зеленым хвостом.

5

Черная вьюга была перекрашенной ведьмой зимы. Вкривь и вкось ее черные хлопья с утра сотворили затмение белому свету. День, — это все-таки день, а не будто бы ночь, — изнемогал озираться среди заштрихованных улиц, имеющих общеразмытые контуры вместо домов и неряшливо желтые пятна вблизи фонарей, что, как ящеры, доверху в язвах.

Осточертевшая всем обезличка во мгле поощряла запои народа.

Карлик, освоив изъяны зимы как удобства ненастья, провел исключительный день аномальных явлений безвыползно под одеялом. Укрытые ноги, кривые придатки, месили мозолями простыни ложа. Руки навывтяжку вдоль и поперек одеяла поникли ногтями.

Но голова — начиненная мина...

В общем, у Карлика не было зла на бесплодно прожитое время, когда без огорчения вдруг отказался продолжить этюд о любви, признавая, что взятая тема неисчерпаема, невыразима. Поначалу работа писалась

успешно вроде бы. Подтягивая поближе запасы слов, он уверенно выкарабкивался к определению сути любви, но куда фиксировал его на бумаге, на бумагу напрашивалось иное понятие сути, не хуже первого, затем — еще третье не хуже. Дойти до конца, разобраться во всех откровениях, анализируя частности, не было вовсе надежды. В этой системе максимального количества точек отсчета существовала гармония, воспринимаемая которую, воспринимай не частицами, но целиком, а то никогда ничего не поймешь у нее. Любовь — априорное свойство людей. Господь удостоил их избранной чести, доверил обзор Его света.

Можно ли тут обижаться мне, сдуру ворча на свое неизбежное время?

Время, когда бытие каждый день убывает и прибавляется...

Время, помимо которого нет измерения жизни, нет эйфории самостояния...

Время, какое не смею хулить и не могу расходовать, обменивая себя на подножные формы богатства либо на звездистые, но проземные чины для того, чтобы так обрести мне лицо фигуранта...

Время, которое, Господи, Ты на меня столько традишь...

А может, оно — Твоя, Господи, Четвертая здесь ипостась?

Я люблю время.

Размышления Карлика были нарушены дверью — та, кажется, пискнула.

Низом оттуда сюда прошмыгнул сквознячок, а за ним африкански размашисто, на манер ихнего Деда Мороза, нарисовался мужик, облепленный черными хлопьями черного снега.

Мужик улыбочиво щелкнул хозяина по носу.

— Шутка, — сказал он.

— Это шутка? — Карлик охрип, еще не кричавши.
— Для церемонии — да.
— Вы сумасшедший? — Карлик оборонялся не лучшими фразами.

— Нет, я инженер, я умище, но могу выпить и водки.

— Водка вас, оказывается, привела сюда! Вы, гражданин, обмишулились адресом. Уверяю. Прощайте.

— Меня сюда привела не водка, а шутка, а водка — не шутка.

— Да не валяйте со мной дурака!..

— Но так образуется всякая дружба, всякая честная дружба! — вопил умище, с которого капала грязь или нефть, или что-то.

— Разве? — Карлик однако ладонью прикрыл ушибленный нос. — Эдак едва ли скоро подружимся.

— Дружище! — вопил этот явно мнимый герой, теребя по комнате грязные брызги.

— Нет, я не желаю, — хорохорился Карлик.

— Оставьте манеру ломаться! — прервал его резко герой, хватая за плечи скользкими пальцами. — Да, кстати, какой же вы карлик, если по росту значительно выше меня?

— Слышите, что не желаю в одну компанию с вами?

— Глух я, не слышу, — пришелец ощерился на половине улыбки.

— Сядьте, пожалуйста.

— Куда? Сяду.

— Сядьте туда, по другую сторону. Запачкали все.

— Зато сел уже.

Но прежде чем утвердиться за стол, он уморно пристроил на гвоздике сбоку дешевую демисезонную шляпу с эмалированной птичкой, поставил в углу суковатый замызганный посох, у коего нижний конец был

уже, словно каблук обнищавшего странника, стоптан изрядно.

Карлик за ним наблюдал и сердился, как бык.

Это — проблема, сердился Карлик, это большая проблема несоответствия человека предметам одежды, вещам обихода. Многие люди несчастливы, многие люди неряшливы, люди небрежны в отборе вещей, что в итоге нашей безвкусицы нас искажает. И внешне мы смотримся точно такими, как эти вещи. Сам я тоже не лучше. Навстречу выскочил! А спроси, где штаны, где рубашка?

Наверняка незнакомец душой не пижон юбилея. Наверняка незнакомец имеет обыкновенное право на понимание, но примитивная птичка, наседка на шляпе, настырно противится пользе. Палка в углу коренасто противится тоже. Никчемные вещи сугубо вредят основной репутации. Да что вещи? Препградой взаимосогласию было рябое лицо незнакомца — мыши, наверное, грызли.

Карлику долго казалось ужасно плохим освещение комнаты, что затрудняло рассматривать это лицо-муравейник искося.

Нет, освещение как освещение.

— Два года тому ваш голос определенно по радио был, — вспомнил Карлик.

— Успокойтесь, я не вещал. Я генеральный конструктор машин, а не разный задрипанный вождь охламонов. Я поэт индустрии, понятно? Число моих детищ учесть не берется никто.

— Много придумано?

— Придумано много, задумано — больше.

— Хотелось бы знать ваше имя, — польстил ему

Карлик.

— Я Процент. Это меня родной брат окрестил изуверски Процентом, он и вещал, а сам я тогда за свои детища прел и томился на каторге.

— Важные, должно быть, устройства, коли за них упекают?

— Они — техника горизонтальных уровней. Правда, не гнушаюсь и вертикалями в столбик.

— А ваши машины военные или для быта? Какое у них назначение?

— У них интересно крутить колесики.

Гость продолжал разговор уже на кушетке, куда самовольно забрался в обуви. Собственно, как продолжал разговор? Говорил он один и захлеб, а Карлик изредка со своей стороны все-таки впихивал ему в это реченье робкие нерасторопные реплики либо вопросы.

Гость отрекомендовался брательником Иллариона. Действительно, вот интонация голоса вроде бы та же самая. Конечно, конечно, такой же фальцет у главы государства. Но гость был язвительно тощ и разительно жалок, а братец его на портретах был славно пузаст. У гостя на буром лице после оспы ничто не растет, а ланиты монарха сияли музыкой! Непутевого брата монарх унижал издевками постоянно, тот это терпел. Однажды монарх углядел обстановку непослушания — рябой самолично жрет ужин. И впредь уже велено было харчи, как оброк, отдавать, ублажая собаку, посредством которой братья здоровались. Эта собака служила секретарем у монарха. Затюканный брат заходил в кабинет, отдавая монарху салют, а собаке — паек. Если монарх изволит ответить исчадью кивком козырька на салют, отзывчивый пес, озирая вошедшее, протягивал умную лапу для рукопожатия. Когда же монарх отчего-либо помедлит изгою кивнуть, пес уже не подаст ему лапу, нахмурится. «Не возражаешь, это Процент называется? — заметил однажды собаке монарх относительно брата. — Нулики видишь на роже? Черточки диагональные, видишь? Отсюда подсказка на кличку. Впрямь он какой-то процент одиночества математической функции. Лохма-

тые пять ему на прощание дай. Пусть убирается нужник». Увидев однажды машины Процента, монарх обострился вниманием и тронул одно колесо на поверку. Тут у него началась истерика, потому что другие колеса, как от щекотки, все завертелись, и власти монарха никто не боялся. Монарх убежал. Он, обомлев, онемел. Ему не давала покоя загадка. Детали машин увязаны цепко — фигура вплотную примкнута к фигуре, но стоит одну повернуть, и начнется такое верчение всех остальных, у которого ты, как улитка на вилке, то бишь, устрица. Послал за Процентов ученую псину. «Колесник и нужник Процент, — рек монарх, — нам, ураган поломай твою спину, смешно, почему не спросился приказа? Я дал бы приказ приспособить колеса бить холки, но без приказа нам они — крамола». Мне что надо сделать? — испугался младший брат. «А покайся, покайся, дескать Илларион, ты у меня в груди». Ил-л-л-ари-он! — повторил Процент, став заикой. «Смелее! Где нахожусь у тебя, не в затылке? Нет?» Илла-ри-он!.. «Продолжай, продолжай, что споткнулся?»... Т-ты... «Делай ноги словам»... Ты-ы у ме-ня в груди, в гру-ди... «Вот и спасибо, чума. Поладили»... Ты у меня в груди торчишь, как нож! — отчеканил затюканный брат, перестав заикаться. Процента связали цепями и по суду опечатали между лопаток на острова. В опечатанном официально виде Процентову нельзя было скоро ходить или руками распугивать мух. Особенно — чтобы не вздумал настроить вертушек. Илларион подсылал к нему соглядатаев — а не бастует ли там главный зек? Он, говорят, не бастует. Илларион объявил амнистию. Процент воротился к своим машинам, которые без присмотра тихо-тихо ржавели. Ныне машины монарху нужны для охмурения дамы.

— Вашу сестру охмуряет, — объяснил Карлику гость.

— Помезану? — Карлик ослышался.

Качая на стуле, кто-то лишил его центра тяжести.
— Львица-девица ваша сестрица! — восхищался
Процент упоенно.

— Думал, она улетела, — Карлик искал оправдания, хотя никакой вины за ним не было. — Думал, она там уже, на песках у Жемчужного моря...

— Погода нелетная, — Процент отвернулся в окно.
— Вон изморось, изморозь.

— С ума сойти! — Карлик бессмысленно тоже взглянул в окно, за которым, как черный лес, ворочался черный снег. — Умру сейчас.

— Этого делать, однако, не следует. Это как же с ума? Как же вас умереть угораздит? Я с вами, кажется, не подстригался на смерть.

— Она любит его? Любит она?

— Полноте, кто способен его такого любить? Она — подневольная, пленная там.

— Иду за ней! — Метался по комнате Карлик. — А вы мне поможете к Иллариону проникнуть?

— Остыньте, не помогу, конечно. Вы зачем устроили беспорядок? Юлите кругами по комнате, хватая-разбрасывая... Не сумасшедший покамест... Остыньте...

— Вы мне друг или черт?

— Я ходячее предупреждение.

— Кто-о?

— Предупреждение, чтобы предотвратить эту вашу затею. Простите меня за щелчок, я не знаю другого секрета знакомств, я лишне застенчив... И, кажется, переборщил...

— Иду, — суетился Карлик. — Я думал, она улетела...

В смятении, часто блефуя, надеясь на что-то другое, чему повинуетса случай, наивные люди готовы принять на себя любой грех или груз, или страх обстоятельств, и хитростью переиначить события задним чис-

лом по-своему.

— Нет. Угодите в заложники. Вас акурат ожидают. А Помезана покудова держится, не поддается, ваше подмога там ей не нужна.

— Держится? Где гарантия, что выдержит?

— О, наконец-то, нашли себе стул!.. Она великая женщина. Великие женщины строго блюдут свою честь в своих детях и не рожают кого попало от кого попало, чтобы не засорять человечество нелюдью. Но вас она в жертву не принесет и согласится, пожалуй, на все. Недурный план у меня назревает, как ее выволить...

— Какой? — спросил Карлик о плане Процента, преодолевая боль в горле.

Не дождавшись ответа, Карлик упал — провалился рывками вовнутрь себя и не помнит, когда ушел гость.

6

— Бабасик, имя твое подскажи мне, — кудохтал ей тихо монарх.

Она, между тем, обняла свою голую грудь, обняла хорошо — словно голую двойню.

— Сукочка, слушайся батьку-руля! — возмутился нахал.

— Это кто сукочка? Пяткой по челюсти вмазать?..

Стремглав она вскочила на стол и приготовилась выполнить обещание.

— Кто сукочка? — вмешался монарх. — Это кто? Моя фея, по твоему, сукочка? Значит я тоже кобель?.. Я тебя... тебя... тебя при ней выпорю по геморрою, хочешь?..

— Еще чего! Не тронь его, земноводный старик, а то пяткой тебе по челюсти вмажу!.. Вставная, небось, у тебя?..

— Не трону, пушай прозябает, — охотно раздобылся монарх. — Имя-то как?

Ее нагота сокрушила решительность Иллариона.

Желанию враз обнаружить у пленницы тайну подмышечных ямок отчасти застенчиво противоречили грязные руки монарха.

С утра не помыл их опробовать юную фею на ощупь.

— Имя? Помезаной меня сокращенно зовут. А тебя?

— Сокращенно меня? Дай припомнить. Наверное, Ладик. Я Ладик...

— Я Помезана.

Монарха Ладика снедали сомнения...

Будь она барынькой в юбке...

Можно к афере принудить ее, когда в юбке, затем обменять на фамильный мундштук у соседнего шаха, шах обольется слезами зависти, какой благородный стоит у меня беспорядок в богатстве, — но голую... голую, как очищенная картошка... голую жалко.

Не след отдавать ее так иноверцу шутя за бесценок...

Пусть у слюнявого лопнет от зависти зоб...

— Имячко, феечка, полностью все напиши на бумажке, — монарх изрекал эти звуки не сам, а ловил и вылизывал извне, чтобы не задохнуться, не подавиться молчанием.

Голос его и слова...

Как осенний морозный шумок на ветру...

Несмотря на прямой незатейливый сказ, имели дружную текстуру, чем обыкновенная просьба.

Грудь и брюшко, и лицо были приспущены, низко приложены к отполированной глади столешницы, где фея ползком сочиняла шпаргалку монарху, который боялся моргнуть и прошляпить момент откровенности жен-

ского тела.

Несколько раз ягодицы меняли свое выражение — то вдруг они чрезвычайно сердито надуются, то лучезарно сожмутся в улыбке.

Монарх отвечал им, естественно, той же значительной мимикой морды.

— Ты что, козел?

— Я черную розочку сзади понюхать охочусь, — Илларион энергично вильнул ожиревшими ляжками, но застонал от укуса, поскольку сломался внезапно какой-то сухарик у копчика.

Фея писала, писала, писала свое бесконечное, как у туземочек, имя.

— Записка готова, — Помезана вручила монарху бумажный листок, а сама свернулась улиткой в охапку на кромке стола. — Теперь отпихнись, отдохну, земноводный дедуля.

Впрочем, необязательно, может, на кромке...

Впрочем, необязательно, может в охапку...

Впрочем, необязательно, где-то не там и не так...

У молодежи бывают ужасные позы где-либо.

— Спит извращенка, спит! — удивился нахал. — А сама не спросилась у вас! Или ткнуть ее, что ли?

— Кого ткнуть? — осерчал Илларион. — Я те ткну!..

Пушиной походкой на цыпочках он удалился в обыденный зал отряхнуть онемевшие кончики пальцев и тапки — тапок о тапок.

Имя зазнобы взывало, пульсируя вслух изнутри помешательства:

— Поцелуй-Меня-За-Ножку!.. Поцелуй-Меня-За-Ножку!..

Во-первых, оно необъятно по-дружески близкое вчетверо:

— Поцелуй-Меня-За-Ножку!..

Во-первых, оно безусловно похоже на все:

— Поцелуй-Меня-За-Ножку!.. Мда, конечно...
пожалуйста...

Во-первых, оно характерным акцентом акустики между словами тождественно лепету раннего детства, наречье которого не таково, как у нас, и поэтому в опусе, где неразумный малыш агитирует облобызать его теплую ножку, нет опечаток.

Иной подтекст имени более женский:

— Целуй меня страстно за длинные стройные ноги, которые любишь.

Иллариону приспичило врезаться в бронзовый щит у противоположной стены.

Щит, имитируя солнце, служил одновременно средством острастки на случай, когда забастуют извилины мозга.

Когда забастуют извилины мозга, тыпнешь ожесточенно башкой по щиту, чтобы мигом опомниться, мигом опомнишься.

Подражая начальству, нахал изворотливо следом атаковал его щит.

— А ты кто, пустозвон? — окрысился монарх. — Убирайся, хозяйку разбудишь.

— Андрюхой зовут, или вы позабыли? Вы давеча, помните, рубль обещали мне?

— Зачем, если на водку? Полтинника много.

— На капитальный ремонт головы.

— Головы зачем?

— Андрюхой зовут.

— Андрюхой, пузырь анонимный, можно с ухмылкой назвать и любого нуля, безразлично кого.

— Наша семья ищет ножницы! — кричали соседи-соседки и стучались в стены плевками. — Мы с обыском.

Карлику было сейчас не до них.

Они развели беспорядок и гвалт и насыпали соли в аквариум.

— Это хватай! — распорядилась энергичной компанией полуседая неряха-бандерша. — Что стоишь, это хватай! Канделябру хватай, что стоишь?.. Это хватай тем более.

Не проявил он к ним интереса и тогда, когда те пеленали его с головой в одеяло, как вещь в дорогу.

Пригрозив, унести этот сверток на улицу за поворот.

Голая спящая тварь охмуряла замашками непостоянства — только что внешне была вся такой, как уже вся не та...

Хорошей была, но теперь — еще лучше...

Вся она прежняя вроде бы, но постоянно — другая...

Без остановки своей красоты Помезана меняла себя на себя...

Меняла, колдуя во сне запредельный секрет обновления.

— Вы со мной, милая, что ни фи́га не гутарите, фея? — монарх интонацией, полной тоскующей лести, попробовал оповестить о своем интересе. — Давайте жениться...

Помезана губами:

— Неба кусочек осиротел, упала звездочка...

— Наплевать! Эта дурочка звездочка, полагаю, поссорилась... Она со своей понебесной товаркой поссорилась, и справедливости ради товарка пинком опрокинула наземь ее, полагаю... Давайте жениться...

— Звездочка, звездочка...

— Звездочка — звездочку! Там, у небьего мира, законы тоже такие... Впрочем, у рыбьего мира не лучше — большая селедка питается мелкой хамсой. Но, как известно по слухам, у жабьего мира...

— Звездочка, звездочка...

— Вы про какую заплакали, фея? Про ту, что ловчее по части пинков, или вы про другую, которая склочная? Давайте скорее жениться, тогда подарю вам ее, как игрушку на свадьбу. Кину на поиски вашей звезды все мужицкое войско и полководцев, оцепят, обшарят овраги... На дне где-нибудь отыщется... Вы что, боитесь жениться?.. Лыс я... Но захочу, на моей голове завтра вырастет южная пальма с орехами, будете рвать их...

9

В холле сидел сенбернар в окружении свиты мелких собачек с медалями, как старичков на политинформации.

Карлик упал аккуратно в полуметре от лап сенбернара, выскользнул из одеяла. Хмельные соседи-соседки, похитившие его, бросились, чтобы поставить его перед псом вертикально, готовя товар напоказ в лучшем виде.

Соседи-соседки поспешно поправили Карлику воротничок, отряхнули соринку; пес ждал, когда кончат.

Строгий задумчивый взгляд сенбернара в пространство был вовремя понят всей свитой. Лязгая напергонки медалями за безупречную службу собаки свиты напали на пьяных и подняли хай.

Пьяные люди, нарочно хромя, покинули холл вперемешку друг с другом, а сенбернар, очевидно, довольный таким поворотом событий, бесшумно пропал в боковые стеклянные двери. Туда же за ним, — соблюдая дистанцию на расстоянии запаха шефа, — помчались другие собаки. Вдруг вошла Памезана.

— Здравствуй! — с первого взгляда Карлик открыл одну важную в ней перемену.

Сестра поразительно похудела, вся она как-то уменьшилась, но без ущерба себе. При этом ее худоба придала простоту ей — не бедность, а женскую детскость. Лицо Памезаны, мускулы, плечи, линии спелого тела теперь обозначены были по-новому, более ярко, смелее. Карлик подумал, что хорошо это. Ранее Карлик испытывал к ней сострадание. Ранее муки от уязвимой публично ее наготы заставляли его подавлять в себе все остальные эмоции. И вот уже Карлик был счастлив, а те непонятные, те неприятные прежние чувства уже и не помнил. Сейчас, как-никак, самый близкий по крови, родной для него на земле человек достоверно в уместной своей наготе находился с ним рядом. Карлик еще раз подумал, что все хорошо это. Иначе он сам захотел бы раздеть ее так. После тревог и тоски, после той несравненной тоски, он сам все равно захотел бы раздеть ее так, но, пожалуй, не смог бы осмелиться, чтобы ее не обидеть каким-нибудь грубым и ложным намеком, — а значит не смог бы тогда убедиться, что с ней все в порядке, цела и здорова.

Ее нагота была крайне условной. Все то, что естественно и настояще, замаскировано в этой условности. Все то, что, казалось бы, здесь пребывает снаружи на самом виду, это все нас дурачит. Оно, вопреки вероломному здравому смыслу, непознаваемое. Не поддается постичь его полностью. Тайны, лишь их обнаружил, скрываются в большие тайны, которые также скрываются

ются в новые большие тайны, которым не будет конца, куда она не захочет, чтобы они перестали быть тайнами.

— Здравствуй! — она зажмурилась для поцелуя.

Карлик обычно целовал ее в щечку, при этом всегда был готов на попятную в случае надобности, а тут откровенно губами он замер на влажных ее губах и не дрогнул. Она, еще больше зажмурясь, легонько раздвинула губы.

Раньше она никогда не выказывала перед ним своей радости этим особенным способом жмуриться при поцелуе — а знай Карлик раньше про эту ее склонность, он целовал бы ее только в губы и в зубы.

— Слышу, залаяли стервы! — жутко сказал возле них чужой человеческий голос, приплясывая. — Ну, я с первым лаем насторожился, и бац — сюда к вам.

Этот голос возник неожиданно из пустоты. Сам по себе, из ничего, он, конечно, возникнуть не мог, и возник из рта того места, где он до сих пор находился. Этим пристанищем голоса был шут гороховый в тоге римлянина. Сам шут ничего не значил, — был бос и плешив, и босыми ногами приплясывал по полу, точно по снегу, — а нервничал в нем натуральный живой человеческий голос.

Шут заходил то с одной, то с другой стороны поудобнее, чтобы попасть на глаза Помезане.

— Зять, — поклонился шут Карлику.

— Чего прискакал-то? — спросила шута Помезана строго.

— Тоже хочу целоваться, — шут скорчил сиротскую рожу заплакать. — Извините, когда мы начнем это дело?

Карлик не мог определиться, не мог убедить себя, кто перед ним. Особенно Карликом не принимались в Илларионе мальчиговые уши монарха на голове-булыж-

нике.

Вот так история, — ну и монарх!...

Слезоточивый такой.

— Твой тазик еще там на стенке, — спросила Помезана.

— Щит? — Илларион подбоченился. — Принести?

— Нет, иди позвони в него балдой на плечах.

— В щит? — Илларион засеменял в направлении боковых стеклянных дверей, но по дороге туда запутался босыми ногами в одеяле, в котором соседи-соседки похитили давеча Карлика. — Что за препятствие? Что за проклятие?

— Дай, — приказала ему Помезана. — Мое одеяло.

— Какое же тут одеяло? — монарх поводил подбородком по одеялу. — Скульптура!..

— Ты чего хочешь?

— Отолью его нежно из туалетного мыло, но как там получится пуп, обещать не берусь, потому что премудрости много в тончайших извилинах накручено у повитухи...

— Не смей утираться моим одеялом, сопливый!..

— Я никогда еще не целовался, — небось, это приятно...

10

Сантехник Эн-тик считал себя сыном этого века.

Эн-тик один на один многолетне вел схватку со всей клиентурой.

В своих коммунальных окопах его продажная клиентура чуждалась визитов полезного специалиста по части водопроводного дела и канализации, — недешево ей обходился этот сантехник, — не дать чаевых ему было нельзя, а давать было жалко. Но Эн-тик умел приставать к населению микрорайона с починкой домашних исправ-

ных кранов, унитазов, моек, идейно желая народу добра в окружении удобств. Эн-тик требовал страшно высокую мзду за свои трудовые успехи на том основании, что мол не смеет никак огорчать клиентуру намеками на ее нищету, — он возвеличивал вас, когда бил по карману.

Не схватка, а пытка с обеих сторон.

Однажды сантехник Эн-тик оказался вблизи башни:

— Загляну-ка по профилактике да поживлюсь, чем пошлют...

Башня стояла не запертой. Сантехник пролез в элеваторный узел, помазал техническим жиром штурвалы задвижек для плавного пуска системы, пошел искать кассу внештатного фонда... На всякий спортивный случай, дабы не заартачилась эта касса, сантехник оставил в подвале крошечную протечку воды в трубе отопления. Труба грустно булькала. Ежели касса хорошая, сильная касса, трубу можно будет заткнуть опосля. Ежели в кассе у них одни воры, — пусть их труба остается с дырой под вопросом и назидает.

В игрушечном зале сантехник набрел на старинную свалку скульптурных изделий, сокровищ в чехлах паутины, и списанных, видимо, в бой, как ему показалось. Эн-тик практично наметил изъять себе на комод скульптурку какого-нибудь вождишки без крена. Пусть гости жены, когда придут поглядеть на вождишку, задумаются, видя, что за вождишка. Пусть они скажут, умеет Эн-тик жить, вот и нажил. Хотя, конечно, хорошим гостям будет мало вождишки числом в одну штуку. В коллекцию надо брать больше вождей, потому — раз такие дела и никто из охраны сейчас не присутствует.

Эн-тик порвал на ближайшей к нему голове паутину, и вдруг на него посмотрели глаза экспоната, неведомо что повествуя...

Два желвака — как замазка. Нет, где как замазка? В обеих глазницах изваяния жевалась юродски какая-то

жвачка — то лезла наружу, то ползла вспять.

— Ах, Карл, это вы или кто? — спросила голова по-женски. — Давненько не было видно...

— Маманя, где у вас касса пособия? — сантехник окаменел. — Они мне треху должны — вот курьез!..

Оживились тогда в паутиновых гнездах и прочие головы, — как пауки, — неумело чихая в сантехника пылью, начали переихихиваться между собой заговорщицки. Эн-тик жалел, что нет палки железной. Без помощи палки как оружия немыслимо было уйти невредимым отсюда. Вряд ли поверят они просто так и вряд ли отпустят его домой на клозетное прежнее поприще.

Эн-тик сделал себе надлежаще весьма потерпевшую глупую рожу, вообразил там вполне идиотскую физиономию, какие сейчас наблюдал у вождей, и, не выкручиваясь, встал явочно рядом с ними.

II

По ночам на него нападал адский грохот в груди.

Сердце, стучавшее, как на кузнечном заводе кувалда, мешало монарху заснуть, как дубина какому-нибудь замухрышке.

Вот уж поломаются старые квелые ребра в этом вертепе, боялся монарх.

Или одним из ударов однажды тебя свалит с ног, если вскочишь внезапно вслепую с постели до ветру.

Вполне.

Ты метишь присесть, а тебя — шарнет оземь...

Ни свет ни заря монарх устремился во двор, ожидая выхода Помезаны, хотя знал, она спит — и не скоро проспится.

Днем он, истощенный погоней за феей, мяукал и делал уродские смирные стойки.

Бывали нелепые дни, когда — кособоко замрет и мяукает.

Он изводил и преследовал юную жертву — не узнавал никого, кроме феи.

Монарх игнорировал алчные жалобы подданных или насущные просьбы людей, не понимая, какого рожна тем еще не хватает.

Илларион упразднил и приемы сановников, этих обжор и нерях.

— Разве мне польза с того, что — диктатор? Один ищачу за всех алкоголиков, а не заслужил себе фею... Таков удел...

12

Когда — неизвестно, днем или ночью, созрела коварная мысль улизнуть из удела страдания.

— Хочешь орден Архигорбатого третьей степени? — спросил он Андрюху. — Ты, гад, угоди мне! Даю два дня сроку. Пугнешь ее, пугнешь ее так, как придумаешь сам, только чтобы она затряслась и поверила, дескать, ей крышка...

Монарх не сомневался в Андрюхе, но умышленно не растрепал ему подноготную замысла.

Вряд ли тогда Памезана ответит отказом, ответит обидой монарху — вряд ли обидой взамен благодарности.

Навяжем ей долг, из которого выхода нет.

В момент, когда нахал Андрюха приступит к работе по напужанию, монарх займет место в укрытии, сядет в резерве. Как только ее пронизает животный страшок, Илларион и появится Ладиком из тайника, чтобы выступить в роли спасителя жизни. В ухо пристрелит нахала. Женская логика так отзывчива, что за каплю нормаль-

ной любезности баба готова любому дарить свою ласку, а тут и понятно-нельзя отпустить человека-монарха с пустыми руками.

— Куриц и зерен! — сутки спустя потребовал Андрюха.

— Гонорара тебе? — монарх испытующе нежно разглядывал уши нахала, соображая, какое наметить под выстрел. — Это правильно, без гонорара солдат, как аптека без клизмы... Склони поощрить твое левое ушко. Дозволь в него выплюнуть слюнку. Слюна накопилась... А братца ее мы куда-нибудь упрячем, чтобы не помешал тебе... Кстати, пришли-ка сюда... Как его?.. Пришли сюда Кролика...

— Карлика?

— Да какая разница?..

13

Я — за конкретно фильтрованный многозеркальный порядок! И ради того насобачил эту библиотеку трудов — избранное мое, кроме таланта, сожрало запасы лощенной бумаги на скалах империи. В избранном я, — ты прочти, — размываю, членю человечество напополам относительно похоти смерти.

К одной половинке, запомни, присосаны те хомосапиенс, — или хомики, так их еще прозываю, — те хомики, которым отсрочка последнего смертного часа диктует облаву на них и пороки диктует. А сама смерть у них — это бесправие, смерть — это несправедливый такой приговор им авансом. Отседова следует, якобы каждому хомику для соответствия будущей смерти, чтобы не зря прихватила, надо в отместку смелее побольше грешить, и поэтому все нороят оскотиниться... Гении той половины — мерзавки, мерзавцы, злодейки, злодеи,

подонки.

Ты понимаешь — я думаю, ты понимаешь.

Отсрочка диктует им оргию жизни.

далее слушай зерно моей мысли — тебе невтерпеж интересно.

Среди лет и зим очередная полусемья человечества, по-твоему какова?

Догадался? Картузники!..

Чего же ты, длинноволосый? Мне за тебя при такой гриве нельзя поручиться перед историей, нельзя на тебя положиться, да ладно — сел и сиди.

Картузники мнительно храбрые, легкие, на привет откликаются сразу, бояться греха. Но диву даешься, чем они там отоварены! Диву даешься, какие слащаво надеты на них оглавления — каждому по картузу надето на лысину. Совсем уже диву даешься той вкрадчивой кротости, которой те картузы выражают обряды добра. Повседневное зло промелькнет, они светятся щечку подставить ему — бей, пожалуйста, нас. Они достойно принимают ужимки судьбы, благодарствуя за поругательство, но с умом ихняя щечка подставлена будет, авось оплеуха зачтется в аскезу. Ты понял эти хитросплетения? Картузники взятку смерти дают. У картуза привилегия на долгожитие.

Половины, которые названы здесь, истожили себя взаимной подначкой. Свободу позволь им — они создадут и хаос. Обучаю хлыщей хлыстами по ляжкам... Я творю на земле равновесие...

14

Переодетый во все казенное не по росту, Карлик уныло разгуливал, обживая камеру, куда под амбарный висячий замок он угодил.

Узнику начертали на лбу порядковый номер для башни.

Слово — разгуливал, это свободное слово не слишком уместно. разгуливать узнику негде — четыре шага вперед и четыре назад.

Эта странная камера, где находился Карлик, имела странную пытошную радиосвязь, изрешеченный сетчатый потолок, откуда что-то безумно ревели, пока молчал арестант, обязанный доказывать алиби по мотиву своей биографии. Карлику без остановки, не закрывая рта, пришлось это делать. Его биография, видимо, нравилась им. Он излагал ее несколько раз, стоило только забыть-ся, подумать об отдыхе, тогда тотчас откуда-то снова что-то зверино ревели на потолке. Карлик, импровизируя варианты для разнообразия, перевирал ее, наконец, оболгал ее. Запутался, дал показания против себя. Вечером — ужин.

Ужиная картофелем, узник изготовил из этого лакомства непроницаемые затычки в уши.

Бывшему писарю кажется, что разместят его в избранной перенасыщенной башне где-то близ юноши Мити, чья голова поначалу по типу плафона несколько дней провисела на мягкой тесьме, пока не пришли монтажники, чтобы поставить ее на площадку.

Митина голова, не двигая взглядом и не моргая, словно мерещится Карлику, вызывала двоякое чувство писаря.

Жалость и гнев.

Если мыслители-монстры слушают азбуку, что шепеляво рождается на патефонной пластинке, то митина голова не принимает участия в этом уроке.

Писарю припоминаются шарики козьего кала по кладбищу на похоронах юнца. На похороны со стороны государственных организаций согнали скорбящих общественников, а посторонняя публика на похороны

пришла со своей стороны. Скорбящие клоуны плакали на заказ адекватно конспекта, что Митя себя на меже не щадил, оставаясь один в поле воин, и спас от огня государственной трактор, ему всенародно доверенный как агрегат. Ораторы были в ударе. Был орден объявлен, увековечивший память отважного Мити-героя. Но, кроме козлиных испражнений, которые каждому пахарю сильно милы на земле скотоводов и пахарей, припоминается горечь угристых улыбок упитанной части гостей, забываемы также другие колючие мелочи.

— А что было делать? — испуганно признавался Карлику шепотом юноша. — За трактор, если сторит, у нас обыск и вшивобойка.

— Прости меня, мальчик, я тебя не защитил...

15

Илларион во дворе выбрал порожнюю бочку со щелочкой в целях обзора и в целях контроля за ходом пужания. Какой-то забытый философ однажды квартировал уже в такой бочке бочком и ничком и подавился лошажьей ногой, припомнил монарх, погружаясь туда. Должно быть, философ умишком не располагал, коли слопал кобылу, как волк, а такая кобыла сейчас помогла бы мне сделаться всадником, если приспичит на белом коне появиться из бочки.

Когда в свою пользу закончу страдать от Амура, прикажу дать людишкам какой-нибудь отдых, а то замшивели. Какой-нибудь актик потехи. Досрочно могу Новый год им устроить и повелю срубить елку веселья, не пожалею закуски, надену свой полководческий плащ и свои медали с орденами — пуцай поздравляют. Однако, можно без елки. Сам я на что? Стою, впечатляю, весь призовой, а вокруг — хороводы.

Дежурный нахал Андрюха, не подозревая, какая ждет участь его, приготовил необходимые приготовления, зачем-то вбил колышки в землю, выпустил из вещевого мешка гадить и вольничать кур во главе с петухом и связал Помезану веревкой крест-накрест и заткнул кляпом рот ей. Художества, чувствую, ладит отменные, — так оценил андрюхины манипуляции довольный монарх из укрытия.

Фея села в углу двора, непрерывно мотала башкой в обе стороны сразу. Монарх наблюдал, как Андрюха пинком заставил ее подчиниться, вытянуть обе ноги ровно-ровно, когда распинал на колышки, чем ограничил ее возможности сопротивляться. Часто нахал ее лапает, образумился Илларион. Я бы мог это сам.

А нахал извлек из кармана горсточку риса, насыпал белую горку на черный холмик в конце живота у распятой, разворошил его прутиком и пригласил сюда кур во главе с петухом разговеться, цып-цып!... Куры, конечно, пришли на холяву, толкались у Помезаны по животу, — скользя, припадая на крылья. Дежурный нахал им потворствовал рисом казны. Во гад, как придумал ее поразить! — удивился монарх, обалдевший в засаде. Вместо бритвы, мол, потрава. Добра не жалеет куда. Куры выщиплют все, что растет, и совсем оголят эту кормушку.

В эту секунду петух, раззадорясь и раздухорясь, зашел на нее с той стороны, где, по мнению монарха, петуху не положено было присутствовать, — но петух зашел и давай раздвигать ее ноги когтистыми сильными лапами, словно мужик. Это как же осмыслить? — не выдержал Илларион, увидав апогей петушиного рейса. — Кочет, охальный, лезет ее добиться, а мы без понятия в бочке философа... Петух продолжая свое гнусное правое дело, натужно покрякивал и пощелкивал. От зависти к этому петуху у монарха повысилась температура. Мо-

нарх, шевельнувшись, почувствовал нервную дрожь.

Боясь не успеть на шабаш, забывая дышать, Илла-рион вырвался вихрем из бочки соления, лягнул на скаку петуха и нахала, которые суксили и повалились, и сам повалился, пополз.

Долго полз напролом.

А карабкаясь на Помезану, монарх оглянулся воинственно по сторонам.

Кругом вседозволенность блуда.

Монарх вцепился вставными стальными зубами в торчавший мертвецки во рту Помезаны, как удушитель, мокрый кляп, а руки монарха сдирали с монарха его панталоны заморского кроя, но сгоряча либо сдуру запутались там, как в отсеках подводной лодки — достать их назад было сложно.

— Скинь, Андрюха, портки! — завопил он о помощи. — Выполний, пестрозадый верблюд...

Андрюха, дежурный нахал, это понял иначе.

Нахал Андрюха спустил по коленки свои голубые трусы в ожидании новой команды монарха.

16

Почудилось, что приближается кто-то без головы.

Силуэт человека либо движущегося предмета был искажен и приплюснен.

Это, небось, удобно — без головы.

Таинственность и продолжалась мгновение, и кончилась фарсом, а тот, кто сюда приближался, спрятался для маскировки за приподнятый локоть, уткнувшись в рукав головой, но Карлик узнал в нем Процента.

Войдя, Процент отшатнулся, прицелился на потолок указательным пальцем.

— Установил тишину, а то могут уши распухнуть

от этого рева.

— Вы надолго его заглушили?

— Навсегда.

— Как удалось-то?

— Молча.

— Как вы попали ко мне? Сквозь капитальную стену прошли?

— Зачем портить даже тюремные стенки. Всякий замок доброволен передо мной. Я инженер, а не взломщик, не выдумщик и не обманщик.

— Что с Помезаной?

— Послушайте спич!.. Одно из моих гениальных устройств создает мешанину любого масштаба... Перемешать можно все миллиарды... Сам не знал этого поначалу... Честное слово Процента. ...

— Перестаньте! Скажите мне что-нибудь толком.

— Затем и пришел, рискуя... Придумывал, комбинировал и переделывал тысячи раз, потому что хотелось и нравилось, и вот, пожалуйста, случай. Вдруг эта Быр-быр-перебыр-коропо ныне споеобна состряпать многоступенчатое шароподобие в мире. Быр-быр-перебыр-коропо, запомнили?

— Что-о?

— Быр-быр-перебыр-коропо!..

— Вы на коком языке говорите?

— На своем, общем с вами, пока еще вам недоступном... Удачно назвал я машину, чей сервис и предлагаю...

— Да перестаньте же! Что с Помезаной?

— Затем и пришел, рискуя... Не перестану... В машине следует лишь повернуть рычажки с интервалом в синхронном значении кода...

— В синхронном значении кода?

— И хода.

— Чушь это.

-
- Зато — машина.
- Быр-быр-перебыр-коропо?
- Быр-быр-перебыр-коропо заставит людей помяться собой. Вы тогда станете кем-то другим, кто ненароком окажется вами.
- Зачем эта путаница нужна?
- Чтобы спасти вас и спасти Помезану. Вы по Быр-быр-перебыр-коропо не почувствуете, как и когда превратитесь в энную личность, допустим, хотите — в какого-нибудь Тракторенку?
- Двумя ногами! — сказал иронически Карлик.
- Я по Быр-быр-перебыр-коропо становлюсь, например, Помезаной, которая своими путями превращается в Иллариона, который тогда превращается в вас! А Тракторенке мы тоже найдем его донорскую пару, куда-нибудь этого хлопчика сунем и переиначим весь мир. А?..
- Вы сумасшедший!..
- Вы мне уже говорили. Хорошо — не поверил.
- Это преступно, кощунственно, чтобы моя сестра была монархом. О, подлость какая!..
- Сделаю вас Илларионом! А сам я буду вами, вы — Помезаной, которая станет приятно Процентом, — он извлек из-под полы калькулятор. — Я Карлик!.. А Тракторенку мы...
- Быр-быр-перебыр, черт возьми, коропо! — вытолкал Карлик изобретателя, самозванного Карлика, взашей.

17

Кляп у нее во рту — как приращенный.

Монарх шатал его, дергал зубами, тащил его вверх на себя.

Когда же монарх неожиданно понял, что девушка

держит нарочно тот кляп изо всей своей силы, то сам изо всей своей силы вставными стальными зубами куснул ее за щеку до крови.

Потом еще раз — уже за бок.

Ел и рыдал от избытка деликатесного ливера.

Точно так же, как в избе старика Балалайкина Борьки за трапезой.

— Где фейка? — кричал Андрюха на него.

— Какая там Фенька? — монарх озирался шкодливо по сторонам.

— Сожрали? Сожрали живьем и сырьем!..

— Она сама такая была... такая напропалую вся рваная...

— Нет!..

— Нет?... Она тогда, может, еще...

— Нет!..

— Образуется бегать...

— А кому летать?

18

В Имперском Верховном суде верховодили двое друзей.

Первый — простой бывший шорник, а второй — тоже шорник.

Юристы, прежде чем взяться за правовые гужи, поднаторели в искусстве пошива гужей конской сбруи.

Прокурор господин Вопилло, бывший шорник, умел, если что, самобытно преподнести презумпцию вашей виновности.

Бывало, что подсудимые вовсе не нарушали законов, исправно служили, но прокурор, опережая события, доказывал их опасные противоправные действия на случай будущего, поэтому не допускал отсрочки суда,

где готов обвинительный приговор.

Его сотоварищ, адвокат Ювеналий Пол-Зла, бывший шорник тем паче, не соглашался на те приговоры, считая подзащитных озорниками, возможно, не более, поэтому все приговоры должны быть оправдательными.

Как обычно, кулачные бои прокурора с адвокатом переходили на дружеское рукопожатие.

Сегодня судебным процессом командовал Илларион имени себя самого. Вместо неакредитованной публики ныне зеваками на суде присутствовали государственные нахалы с женами по пригласительным билетам. А слушалось дело Помезаны. Поскольку самой Помезаны в живых не нашлось, ответ за нее держал Карлик.

— Обвиняю латвскую в испражнении сверху! — ткнул прокурор пальцем в Карлика. — Господа, вам интересно, где это произойдет? Я скажу. Над армейскими плацами произойдет. Оно там удобное место диверсии.

— Протестую, ох, как я протестую! — Пол-Зла замечательно прытко вскочил и погладил Карлика по голове. — Дитя, у тебя к этому времени будет уже запор, не правда ли? Никаких испражнений.

— Тогда предлагаю свидетеля Дыркова! — торжествовал прокурор. — Свидетель, а как произносится правильно ваша фамилия? Вы Дырков или Дырков? На какой слог ударить? Это важно суду.

— Оно так и так ничего, — признался наивно свидетель.

Предложить на процессе свидетеля Дыркова означало на языке специалистов условный сигнал, что пора закругляться. По недописанным правилам распределения первенства между кулачными силами свидетель Дырков мнился по сути могучим козырем в руках у того, кто первым его предложит. Он официально числился в штате суда на должности главного свидетеля по особо нужным суду показаниям.

Это был долговязый, наивно придурковатый, прищуренный малый с пушистыми бакенбардами на детском лице. Дырков одевался... Нет, одеваться-то он одевался, но вовсе не в том назначении слова — глагола, то-бишь, одеться. Как одеваемся мы? То-то. Как он одевался? Был он одет ювелирно во все цветастое, сказочно-басенное, доводил окончательный лоск своего туалета до такого безупречного совершенства, что, упади ненароком ему на плечо волосок, а то чей-либо волос, откроется в зале суда неперемнная паника с давкой. Дырков обаял одеждой восторженные глаза присутствующих, они приходили сюда на него, как ходят поклонники театра смотреть на артиста-кумира.

Дырков никогда никого не топил в океане свидетельства, не закатывал пробных истерик на публику, помалкивал в тряпочку, — редко чего разумея, — но без свидетеля вовсе процесс — не процесс. Это почти что проехать по скользкой дороге несколько миль. Это проехать по скользкой дороге верхом на слоне без возницы, сидя спиной и затылком вперед. Неизвестно, куда этот слон вас еще заслонит. А причастность Дыркова в любом ее виде к сюжетам судебной палаты показывала на определенную зрелость процесса, на законченность — будто бы ехал и спешился.

— Здорово за ручку, свидетель! — приветливо встретил свидетеля доктор Ювеналий Пол-Зла. — Вообразили себя на плацу где-то в будущем?

— Это смотря в каком чине, — ломался свидетель.

— Это неважно, в каком, — подсказал прокурор. — Ну, допустим, начальником караула.

— Годится, — решил свидетель. — Угу, я начальник.

— Оглядитесь, обнюхайтеся. Отвечайте, давно ли знакомы с моей подзащитной? На сей раз она в мужском виде несколько.

— Для конспирации, — подсказал прокурор.

— Я не знаком с ними, — Дырков ослаб, явно боялся Карлика.

— И вы далеки опознать, чей помет? — адвокат Ювеналий Пол-Зла подмигнул прокурору пошевелившейся фигой.

— Никак нет-с! Не могу-с и не буду, мне мое звание не позволяет.

— А мы вас уже разжаловали до рядового, — выкрутился прокурор.

— А теперь и подавно заткнусь, — обиделся Дырков. — Я мамке про вас расскажу. Так, мол, и так. Издеваются. Жаль, я не помню фамилию мамки, у нее вторым: браком другая...

— Похоже, свидетель ни ухом, ни рылом не ведает, что караулил, — облегченно шепнул адвокат Ювеналий Карлику.

— Правдивые патриотические показания Дыркова и Дыркова изобличают преступницу, — вспять повернул прокурор ход процесса.

19

Вода почти добралась до подбородка сантехника в игрушечном зале, когда потух свет, — по непроверенным данным свет в зале не просто потух по-мирски без скандала, но вычурно грохнул! Как если бы свет раскололся.

Сантехник Эн-тик впал в прострацию.

Лысые головы, словно глубинные бомбы на тумбах, исчезли в подводную мутность и погибли.

Нашлась, наконец, им вакансия смерти.

Лишь голова Графаилла чудом осталась.

И лишь голова гениальной актрисы чудом еще уце-

лела.

Плавают они поверху без якорей, — то удаляются в разные стороны, то потихоньку сближаются для столкновения, после которого следуют врозь, — каждая медленно следует собственным курсом.

Известный когда-то поэт Графилл барахтается на волнах и выкачивает изо рта горизонтальные тонкие струйки.

Актриса, пронзенная болью, хохочет.

Знакомая боль от холодной воды бытия веселит эту даму.

В общем, искусство — бессмертно.

20

— Правдивые патриотические показания Дыркова и Дыркова целиком изобличали преступницу, — вспять повернул прокурор ход процесса. — Теперь ясно, зачем она высоко летала, мухлюя наделать с небес.

— Подумаешь, молния! — заявила какая-то тетка протест от имени заднего ряда. — Мы что, разве хуже? Мы тоже без оперения могли бы на небо, не будь у нас малых детей...

— Слышь, ты, свиногрызка, тише про мелких детей! — осек Илларион ересь и зависть. — А ты, прокурор, про свое.

— Показания Дыркова и Дыркова говорят нам о том, что преступница настолько скрытно работала против армейского плаца, что даже свидетелям не удалось обнаружить улики! — попер прокурор. — Это ли не усугубляет ее вину?..

— Чертики в гробиках! — выругался на прокурора дружок Ювеналий, комкая руки.

Карлик, присутствуя здесь, не участвовал в этом

судилище, в этом смешилище.

Человеку со своей правотой здесь опозориться можно.

Для человека, кто со своей правотой, малодушие здесь означает отказ от его правоты.

Карлик удивился, что думает о себе почему-то в третьем лице, — как о ком-то. Стало быть, его, то-есть именно Карлика в третьем лице, видит кто-то, кто мыслится в первом лице.

Нет, не двойник его — Карлик давно с ним расстался.

Монарх отгадал настроение Карлика:

— Где твоя правота потерялась? А то накажи меня своей правотой.

— Господь уже наказал вас однажды, сделав таким.

— Это меня не Господь, а старик Балалайкин. Я после него нервный — как вепрь.

21

Внезапная боль у монарха во рту поселилась абсурдно — во время чихания пополудни.

Сперва было нечто — в новинку, потом оно вдруг — обнаглело, пошло сразу в обе скулы нарезать врасплох и врасплох испытать их на прочность и вызвать ярость Иллариона.

Перекошенный болью, монарх извелся.

Монарх извергал оглашенные стоны.

— Боль! — орал он Андрюхе бешено.

— Тут, извините, ничего нет, — Андрюха светил ему в рот фонарем интерьера.

— Нет, а — где?.. Лицемер!..

— Я вашу полость одну только вижу порожнюю.

— Что делать? — орал он Андрюхе.

— Выпейте водки, сядьте поближе к огню, все пройдет.

— Я — непьющий...

— Вы — некурящий...

И правда.

Коньяк и камин обуздали злодейку.

Действительно, боль отступила.

Зарево землетрясения смыло не нет. Явились крысиной походкой мелкие каторжные чины... Всю жизнь они те, кому верха не надо, держаться крепко за трюм, и годны на подстилку для ног в сапогах... Я лично люблю гибриды, не подстилки. Родинку-люстру, котлету-ресничку...

Снова намечена перетасовка всего, стало быть, обезьянника... В аккуратисты стремятся которые мушкой неслышно летают, у них и потомство для тесноты, где нельзя даже дернуться, чтобы кого ни поранить... Это кто же сюда пришвабрился?..

В кабине камина мелькнуло лицо Балалайкина Борьки.

Мелькнуло, пропало, но вскорости снова нарисовалось.

— А Ваша светость опух, — изучая монарха Балалайкина ехидно смотрел из огня.

— Сгинь! — указал ему почему-то на дверь Илларион.

— Я проведать пришел, как меня уважаете?..

— За что? Кто таков?

— Аль забыли за что? Порол вас.

— Кто пророк? Ты пророк? Не слышал про такого пророка.

— Не пророк, говорю...

— А про что? Про творог?

— Я порол, говорю! Я порол вас — должны ува-

жать.

— А, случайный удар по спине не считается поркой, запомни.

— Нет, не скажите, считается. Вам сейчас стыдно, зачем ублажали меня, вильнув задом и были потехой. Считается все.

— Ты — дурак! Я спасался, дурак.

— Эко вы без достоинства, помню, спасались, а кошка пропала. Но вы, Ваша светость, сами сейчас помяукайте кошкой. Потом и помурлыкайте. как кошка мяукает, когда соскучится, знаете. Вот интересно прослушать.

— Я мяукаю, когда соскучится?

— И помурлыкайте. Вам не в первой ...

— Когда я мяукал-мурлыкал?

— А когда за девушкой бегали — было? Вы еще не мурлыкали, а пока что виляли, но раз уж виляли, чтобы спастись, можете и помяукать. Покапризничаете, покапризничаете и начнете. Небось, и мурлыкать согласны. Думаю, уже готовы.

— Заткнись! Я монарх, а ты — борода... Что делаешь в этой печке? Прочь думать в другом очаге!..

— Тише.

— В противопожарную глушь отправлю, загоню!..

Монарх замахнулся на Борьку флагом, а Борька, не мешкая, переместился по древку вперед на лодыжку монарха, кольнул его невидимым шилом в мясо. Монарх отскочил, ухватив старика за власяницу. Борька исчез и пронзил правый бок, объявившись опять. Борька стремительно менял позиции, нанося чувствительные удары с укусами по незащищенным частям монарха. Илларион шмякнулся на пол, покатился к стене. Оттуда по тем же коврам тем же самым путем прикатился обратно к камину. Когда нахал Андрюха в новенькой пожарной каске влетел в кабинет по тревоге тушить самодержцем

огнетушителем, Илларион имени себя самого корчился перед камином, в который мяукал жалобы, как-будто ему наступили глумливо на хвост, — золотые змейки и шустрые язычки огня резвились, бегая по монарху, ловили друг друга, прятались и появлялись опять, лишая парадный мундир его чопорности и дорогого сукна.

22

... Радуется купец, прикуп сотворив, и кормчий в отишье привстав, и путник, в отечество свое пришед, тако же радуется и писатель книжек, дошед до конца книги, — так рассуждал мних Лаврентий в пятнадцатом веке.

Дошед до конца своих книжек, многие нынешние списатели тако же радуются получке за эту работу.

Кто просит денег.

Кто — славы.

И токмо мне за мой труд паки и паки не бысть ничего, я подопытный автор. Сотворив эту книжку, не сотворил прикупа. И вот развожу поднебесно руками — неужто живот свой сконча от неядения мяс свиных?

Сам виноват, глаголите вы, рекл бы про то, яко лепо живем.

Виноват, но, пожалуйста, не применяйте во мне своей власти помочь образумиться силой. Про вас напишу на большом правеже опосля — сказ мой буде чудно и не льстяче представлен. Вельми борзко десница писати почнет.

Но дошед до конца сей книжки, цена коей грош, тако же радуюсь иному чрезвычайному случаю, — помнится от сего лба, как в прошлом столетии один очень добрый французский художник сказал мне в наше столетие о своих картинах, что каждая новая даже ценой в

десять франков делает на десять франков богаче всю нацию...

И пусть мои дети и внуки, у которых я здесь ничего не украл и не отнял, так же радуются в отечество свое пришед.

23

Забывается всякая мера.

Смерть наша - ничто.

Ничто по сравнению... ничто как ничто, ни на что не похоже.

Мы в одной связке идем под конвоем Иллариона к плакату, который на расстоянии читаем издалека...

«ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН!»

А вблизи — там иначе написано было...

«ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖАС!»

Миллионы людей пришли нас оплакивать, а почему-то смеются...

— Во хохотальники сверху разверзли — брюхо со смеху вывихнут, — обиделся монарх. — Или меня взаправду не видели?..

Людей обуюл здравый смех. Иные зеваки смеются на трубах промышленных зданий, где их не возьмешь ни хлыстом, ни гостинцем. Иные по состоянию неподчиненности силе, свисая, смеются из окон больниц, а кто-то, — пока ситуация, — забрался смеяться на плечи со-седа, который не замечает этого. Мы сами — со всеми во всю.

24

Карлик опомнился — сжал свою голову крепко ладонями и раздавил.

Все?
Но, может, кто жив еще.
Может, кому-то еще это надо.

Я люблю Время.

ПИСАТЕЛЬ КАК СОТОВАРИЩ ПО ВЫЖИВАНИЮ

Губин был человеком другого склада. Выдумщик, плут, сочинитель, он начинал легко и удачно. Но его довольно быстро раскусили. Последовал длительный тяжёлый неуспех. И Губин, мне кажется, сдался. Оставил литературные попытки. Сейчас он чиновник «Ленгаза», неизменно приветливый, добрый, веселый. За всем этим чувствуется драма.

Сам он говорит, что писать не бросил. Мне хочется этому верить. И все-таки я думаю, что Губин переступил рубеж благотворного уединения. Пусть это звучит банально — литературная среда необходима. <...>

<... >Губин рассказывает о себе:

— Да, я не появляюсь в издательствах. Это бесполезно. Но я пишу. Пишу ночами. И достигаю таких вершин, о которых не мечтал!..

Повторяю, я хотел бы этому верить. Но в сумеречные озарения поверить трудно...

Сергей Довлатов «Невидимая книга», 1976.
(Цит. по изд. С. Довлатов, Собр. соч. в 3 тт., СПб, 1993, т.2, с. 21)¹.

Горько и забавно сегодня, больше чем через двадцать лет после их написания, читать вынесенные в эпитафию строки Сергея Довлатова. В них — как на ладони — то время и то поколение: время, где поколению не хватало места, и поколение, борющееся со временем с помощью перемещения в пространстве. Не прислушавшееся к лукавому совету знаменитого советского стихотворения, поколение это только тем и занималось, что различало между победами и поражениями, своими и чужими, но вот прошло двадцать лет и становится всё яснее, по крайней мере, стороннему наблюдателю, что «различение» это происходило (пользуясь до идиотизма емким «инженерским жаргоном») чуть ли не «с точностью до наоборот» — многие поражения оказались

¹ Повторение цитат из эпитафии в тексте специально не оговаривается. (О.Ю.)

победами, а почти что все победы — поражениями¹.

Вот и судьба писателя Владимира Губина, изображенная выше с доброжелательным сочувствием к «сдавшемуся», представляется сейчас по-иному — «с точностью до наоборот» — судьбой именно что несдавшегося человека и писателя. Судьбой победителя, какой бы печальной иронией это ни звучало, если применить обычные критерии — славы, книг, гонораров, власти. И не применять «необычных критериев» — достоинства и самодостаточности, верности и веры.

Но попробуем вкратце ее описать, эту судьбу. Владимир Андреевич Губин родился в Ленинграде весной 1934 года, пробыл полблокады в городе, а затем был разыскан родственниками и вместе с братом вывезен в эвакуацию. Некоторое время после школы и до призыва в армию числился заочником Московского университета. Армию отслужил на Дальнем Востоке, в Уссурийском крае. С 1960 г. и по сей день состоит, по собственному выражению, «на прокорме в «Ленгазе»»: помните? — «сейчас он чиновник «Ленгаза», неизменно приветливый, добрый, веселый.»

«...он начинал легко и удачливо...» — в 1958 г. газета «Труд» объявила конкурс «на лучший рассказ о рабочем классе». Четыре рассказа Губина из цикла «У нас в механическом цехе» были единственной публикацией этого конкурса. И его стали печатать, и чуть ли не еженедельно передавать по радио, на корню подбирая рассказы «о механическом цехе». Типичная редакторская замороженность тем, что у них называется «тематикой», заставляла поначалу просто не замечать своеобразия авторского языка, по тем временам разительного. Быть может, с характерным для свежеспеченной советской «элиты» ни на чем не основанным высокомерием, оно вообще было списано на «литературную

¹ Надеюсь, не надо специально оговаривать и то, что высказанные здесь мысли о времени и поколении не целенаправлены на попутное принижение или осуждение кого бы то ни было лично, тем более С. Довлатова, чьи слова потому и использованы, что, с характерной для него виртуозной отчетливостью, сжато и безжалостно передают существенное о поколении и времени — и о том, чем они на деле были, и о том, как они себя представляли. (О.Ю.)

неопытность молодого рабочего».

«Но его довольно быстро раскусили» — естественно, и начали «перекрывать кислород». Время шло, а молодой автор не обтесывался, не заглатывался советской литературной машиной, точнее, начинал заглатываться, но и начинал это сам понимать — и сопротивляться. «Более всего меня беспокоило вовсе другое. Я не поспевал за аппетитом радио и лепил иногда наспех нечто посредственное, пихая туда на погибель интересные заготовки и наработки. И тогда я сказал себе: «Стоп!»»¹

В 60-ые гг., вместе с В. Марамзиным, И. Ефимовым и Борисом Вахтиным² Губин создает объединение «Горожане» (куда позже вошел Сергей Довлатов). Попытка опубликовать в легальной печати альманах этого объединения стала для Владимира Губина последней попыткой участия в литературном процессе. Дальше — более четверти века вне.

«Сам он говорит, что писать не бросил. Мне хочется этому верить. И все-таки я думаю, что Губин переступил рубеж благотворного уединения.» — что ж, доказательство у вас в руках, хотя, конечно, никто никому и ничего не собирался доказывать. «Илларион и Карлик»³ писался начиная с 1981-го и до прошлого, 1996-го года, буквально вплоть до

¹ Из неопубл. автобиографической заметки В. Губина, находящейся в моем распоряжении. (О.Ю.)

² В «Летчике Тютчеве» и в «Абакасове Удивленные глаза» Вахтин был, на мой вкус, одним из немногих прозаических писателей послевоенного времени (наряду, конечно, с Венедиктом Ерофеевым и, быть может, с Сашей Соколовым первых двух романов), достигших, говоря по-старинному, совершенства прозы и, тем самым, безотносительности к условиям и обстоятельствам ее написания (О.Ю.).

³ Первая и, быть может, важнейшая заслуга в возвращении сочинений Владимира Губина к состоянию, когда не только он сам, но и другие заинтересованные лица имеют возможность извлекать из них пользу и удовольствие, принадлежит журналу «Сумерки» (под редакцией А. Новаковского и А. Гурьянова и вообще ставшему важнейшим источником по ленинградской литературе 50—80-х гг.). «Сумерками» была напечатана (№12, 1991 г.) глава «Башня» из предлагаемой книги. (О.Ю.)

последней издательской корректуры⁴, переписываясь, ужимаясь, уплотняясь — в неистребимой и неутолимой тоске по совершенству текста. И в неискоренимой верности тому взгляду на язык, что в конце 50-х — начале 60-х гг. обрели, оглянувшись, несколько молодых ленинградских писателей. Этот взгляд на язык, эта традиция вывернутого, сдвинутого, орнаментального слова, загоняющего смысл в невозможность никому и ничему служить, кроме себя самого, возобновленная было тогда, но стертая шестидесятыми годами, с их «само собой разумеющимся для культурного человека» образом действий и представлений: в литературе — социализм с хитрым человеческим личиком, усовершенствованный и постоянно дальше совершенствовавшийся под вкусы новонародившегося «инженерства», в литературном процессе — теория очень постепенного «побеждения дракона изнутри», из его драконьей утробы, где так приятно трагически дремать и потряхиваться, переваривая и перевариваясь. Так, портя дракону пищеварение, «приближали перестройку» (что, как ни смешно, похоже на правду) те, на кого хватило места в желудке (те же, на кого не хватило, страдали и обижались, поскольку полагали — и со своей точки зрения даже справедливо — что дракон должен бы был глотать не первых попавшихся и не самых скользких, а лучших и талантливейших, и тогда бы он был «дракон с человеческим лицом», «свой дракон»). А Губин никаких перестроек не приближал — он жил, выживал, писал, когда и как мог и хотел, доводил до упора, до предела, до последней эссенции то, что начиналось тогда, в конце 50-х — начале 60-х: — прозаический ритм доводил до гекзаметра, густоту орнамента до слитной полосы, остраненность взгляда до отчужденности мира. Он был, как он сам назвал это в «Илларионе и Карлике», наш «сотоварищ по выживанию». Он в одиночку прошел путь, предназначавшийся целому литературному поколению, прошел как свободный человек и свободный писатель, как будто бы даже не замечая, что

¹ Желающие благоволят сравнить предпубликацию главы из «Иллариона и Карлика» в альманахе «Камера хранения. Выпуск пятый» (СПб, 1996) с текстом настоящего издания. (О.Ю.)

обстоятельства ему норовят что-то «не порекомендовать» и куда-то его «переориентировать». Лично я даже не хочу сейчас оценивать результатов этого пути (они, слава Богу, еще не окончательны). Я просто радуюсь, что появилась возможность зафиксировать в печатной форме один из них — «Иллариона и Карлика», *повесть о том, что...*

О чем эта повесть? О проверке русской речи на предел спрессования? Об испытании русской прозы на предел ритмизации? Об контроле русской жизни на предел отчуждения?

Если вы прочли эту книгу, то знаете *о чем* — и ваш ответ годен только для вас. Если же прочесть не смогли, то ее прочтут ваши дети, сняв с полки, куда вы ее поставили — предположим, по алфавиту, между Вахтиным и Довлатовым — и сами смогут выслушать этот ни с кем не сравнимый голос. Главное — для них —, чтоб у них была такая возможность.

Олег Юрьев

Янв. 1997, Франкфурт-на-Майне

КНИГИ АССОЦИАЦИИ “КАМЕРА ХРАНЕНИЯ”

Камера хранения. Четыре книги стихов. М., 1989, 208 стр.

Поэтические книги:

Олег Юрьев. Стихи о небесном наборе.

Ольга Мартынова. Поступь январских садов.

Дмитрий Закс. Прекрасных деревьев союз.

Валерий Шубинский. Балтийский сон.

Камера хранения. Выпуск второй. Спб., 1991, 256 стр.

Литературный альманах.

Камера хранения. Выпуск третий. Спб., 1993, 222 стр.

Литературный альманах.

***Камера хранения. Выпуск четвертый.** Спб., 1994, 208 стр.

Литературный альманах.

***Камера хранения. Выпуск пятый.** Спб., 1996, 150 стр.

Литературный альманах.

Олег Юрьев. Прогулки при покой луне.

Спб., 1993, 144 стр. ПРОЗА.

Олег Григорьев. Двустипшия, четверостишия и многостипшия.

Спб., 1993, 124 стр. "XXX ЛЕТ".

Ольга Мартынова. Сумасшедший кузнецик.

Спб., 1993, 86 стр. СТИХИ.

Сергей Вольф. Маленькие боги.

Спб., 1993, 85 стр. СТИХИ.

Дмитрий Закс. Agia d'acquaio и другие стихотворения.

Спб., 1994, 102 стр. СТИХИ.

Леонид Аронзон. Избранное.

Спб., 1994, 102 стр. "XXX ЛЕТ".

Владимир Губин. Илларион и Карлик.

Спб., 1997, 128 стр. ПРОЗА.



*Издания, помеченные *, за пределами бывшего СССР — только через книоторговую фирму Kibon & Sagner (Мюнхен). Остальные — также через издательство.*

